



Виталий Орехов

Хроники Эрматра

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9746151
Хроники Эрматра/Виталий Орехов: Этерна; Москва; 2015
ISBN 978-5-480-00355-0

Аннотация

Роман «Хроники Эрматра» больше похож на карту, чем на книгу. Один путь начинается на излете существования Австро-Венгрии, в одном из лучших домов Вены. Другой – в крестьянской избе небольшого уездного села царской России, третий – в аэропорту Рио-де-Жанейро. Дороги переплетаются, прерываются, теряются и находятся заново, сливаются в одну, расходятся, уходят в тупик. Какой-то путь станет магистральным шоссе, какой-то – приведет к обрыву. Единственное, что нужно, – иметь карту. Но, к счастью, у некоторых она есть...

Увлекательное чтение, интеллектуальный поединок, захватывающий сюжет, роман «Хроники Эрматра» будет интересен всем любителям качественной прозы.

Виталий Орехов относится к новой волне современной российской прозы. Автор изданного в 2013 году сборника «Демииургия» живет и работает в Москве. Выпускник факультета журналистики МГИМО пишет и публикуется в российских литературных журналах («Русский пионер», «Клуб МЖ») с 2010 года. Во время практики и работы в Германии у автора родилась идея романа, позднее получившая развитие и ставшая книгой в ваших руках. Автор не боится откровенно отвечать на актуальные вопросы, он затрагивает опасные темы. Любовь, ревность, измена, наука, история и сама жизнь – все становится мазками на полотне Эрматра. Всем, кто найдет в себе силы и смелость выйти из своей зоны комфорта, будет интересно это увлекательное путешествие в мир нового русского романа.

Содержание

Пролог (Система счисления)	5
212 ВС	5
...	8
Часть I (Числитель)	13
1885	13
1888	16
1901	21
1905	24
1906/1917	27
1908	33
1920	40
1922	44
1924	47
1924	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Виталий Орехов

Хроники Эрматра

© В. Орехов, 2015

© ООО «Издательство «Этерна», подготовка к изданию, 2015

* * *

Причина Третьей Пунической войны в том, что вопреки условию договора карфагеняне подготовили флот и войско против нумидийцев. Их царь Масинисса настойчиво устраивал провокации на границах с Карфагеном, но к нему благоволили римляне. Всякий раз, когда решали вопрос о войне и даже когда совещались о чем-либо другом, Катон с непримиримой ненавистью провозглашал: «Карфаген должен быть разрушен». В противовес ему понтифик Публий Назика Сератион утверждал, что город должен быть сохранен, потому что с устранением страха перед городом-соперником – счастье стало бы чрезмерным.

Луций Анней Флор, «Эпитомы»

Должно случиться так много вещей, чтобы два человека могли встретиться.

Гильермо Арриага, «21 грамм»

Пролог (Система счисления)

212 ВС

Да. Время еще было. Перед последним закатом солнце еще светило ярко, высоко над горизонтом, оно уверенно катилось за его дальнюю недостижимую линию. На пороге дома сидел ученый и думал о решении бесконечно сложной задачи расчета парабол небесных светил. Необходимо было учесть тригонометрию момента. Это должно было стать последней частью уравнения. Уравнения... Надо было успеть провести подготовительные расчеты до заката, заточить инструмент для того, чтобы не пропустить момент наступления ночи. Ему было семьдесят пять лет, и за свою жизнь он сделал больше, чем сделали все до него, и больше, чем сделают люди на протяжении следующих двух тысяч лет. Он уже давно знал, что истины нет, что вселенная эфемерна и подчиняется законам, которые не суждено понять ни одному смертному человеку во всем мире. Единственное, что бессмертно, – идея. В отличие от своего двоюродного брата – царя, уверенного в силе оружия и политики, – он был уверен только в том, что все, чем он занимался всю свою жизнь, не будет бессмысленно.

Он жил в последнюю эпоху великого времени и знал больше, чем можно было себе представить. Он был знаком со светилами науки и философии, он помнил царей, диктаторов, тиранов и демократов, он знал, что такое ход истории. Он посвятил свою жизнь гораздо более значимому делу. Он знал, что имя его брата навсегда забудется, как забылись имена его деда, и деда его деда, и многих сотен других людей, ставших властителями. Его же будут помнить всегда.

Но за время его жизни слишком многое изменилось. Великая империя, культом которой было оружие и порядок, только поднималась, ее солнце только всходило на небосклоне истории, чтобы сиять на нем от скромного восхода до позорного заката более тысячи лет, а потом еще тысячу лет блистать своим ватиканским отражением.

Ученый же думал сейчас только о том, как провести небесный арктангенс в системе зенита. Еще давным-давно, когда он обучался у другого астронома, он научился сосредотачиваться на конкретном деле, не обращая внимания на ход Солнечного огня, на происходящее вокруг, на все, что было вне ученого и его задачи. Позже люди навсегда утратят эту способность концентрации, которая столь много подарила человечеству. Тот астроном говорил своему ученику:

– Только так, сын мой, можно решать задачи. В вечном и праздном любопытстве Урания не откроет тебе своих тайн. С ней и вообще со всякою наукой следует быть деликатным, как с женщиной, и упорным, как с ретивым жеребцом, иначе бы наши предки никогда не предсказали ход светил, никогда бы не рассчитали стадии Земли, никогда бы не открыли тайну числа. Науку надо любить, Архимидис, только ученому, истинно полюбившему науку, откроется она.

С каким замороженным любопытством слушал тогда молодой ученый слова старца! Ученику суждено было превзойти его в своем величии. Но своего учителя он не забыл.

Сейчас в городе бесчинствовали солдаты будущего оскудения науки и культуры, солдаты будущего ничтожества человеческой цивилизации, служители сената и народа, меча и крови. Но ученому было все равно. Он думал только о решении задачи, как учил его старец.

– Хозяин, нам следует укрыться, враги на подходе. – Слуга ученого был единственным, оставшимся в его доме, остальные бежали в страхе перед мощью врага. А ведь именно благодаря ученому и его чудным творениям столь долго не могла армия взять город. Город ученого обходили стороной. Говорили, ученый знает магию и ведунство, говорили, ему открыто

будущее и прошлое, рассказывали, как сами цари приходили к нему на поклон, чтобы он служил их государству. Но ученый остался в своем родном городе.

Уже после смерти астронома он отправился на Восток. В великой стране Востока он надеялся постичь мудрость древних. Там он встретил тех, с кем переписывался до конца жизни, – великих хранителей тайн мира. Открыв для себя тайны астрономии, стереометрии, мистики и математики, он решил до конца жизни служить этому великому искусству, во имя любви к науке и во имя любви к будущему человечества. Он знал, что пройдут века, десятки темных столетий, прежде чем его дело будет продолжено. Он знал, что он не будет последним.

– Хозяин, скоро нас казнят, если мы не спрячемся. Пойдемте! Я знаю, как тайно покинуть город.

Ученому незачем было скрываться. Последний день его жизни станет последним днем золотого века открытий и прозрения, времени, когда природа перестала быть чем-то столь непонятным, столь божественно-пугающим. Но все заканчивается.

– Я не пойду, друг мой, – впервые ученый назвал слугу другом, – а ты беги, ты свободен. Сегодня последний день.

– Тогда я останусь с вами, – ответил слуга.

– Хорошо, принеси мне стилус и мои приборы, возможно, они мне понадобятся. Сегодня удивительно яркое солнце, если получится, мне удастся посчитать, сколько стадий до Великого огня имеют значение для уравниения.

Слуга ушел, но тень, простиравшаяся над ученым, не исчезла.

– Ты уже здесь? – не отрываясь от дел, спросил ученый. Он знал, кто это.

– Центурион дал приказ казнить всех, кто поддерживал царя, – грубо, на наречии, на котором слово «война» звучит с любовным придыханием, а «красота» – воинственно жестоко, ответил солдат.

– Не тронь мои круги, солдат... – чуть погодя сказал ученый и зачеркнул чертой знак возведения, – значит, ты пришел убить меня? – спросил ученый на этом же наречии. Дома он всегда говорил на языке культуры.

– Пришел, – ответил солдат.

Ученый взглянул на него.

– Погоди и одумайся, солдат. Я близок к решению задачи, над которой будут биться тысячи лет. Это столько же лет, сколько мужчин в твоём легионе. Я ее могу решить сегодня. Только ты не должен мне мешать.

– Центурион дал приказ казнить.

– Что твой центурион? – спросил ученый и поднялся. – Вчера я, можешь считать, справлялся у духов людей, о которых ты даже представления не имеешь! Вчера, только вчера, я сделал для мира больше, чем все ваши легионы сделали до сегодняшнего дня и сделают позже. Твой центурион, я слышал о нём... Не Марк ли это Клавдий? Он умный человек, и если он узнает, что ты убил меня, ты будешь наказан и с позором изгнан из твоей республики. Вы ведь пока демократы?

– Я не знаю, что такое «демократы». Я знаю, что я должен казнить всех, кто поддерживал царя.

Ученый посмотрел на солнце. Расстояние до Великого огня идеально. Он закрыл руками лицо, тень вытянулась до бесконечности. Какое-то время они оба стояли друг напротив друга и молчали. Солнце опустилось чуть ниже. Время идеального расчета прошло.

– Тогда казни, – спокойно сказал солдату ученый. – Казни. Но знай, тебя будут проклинять тысячи и сотни тысяч твоих потомков. Ты и такие, как ты, прольете реки крови, уничтожите еще сотни городов, казните много великих людей, потом вы станете казнить самих себя, потому что северные полулюди-полузвери не дадут вам себя подчинить. Они

же уничтожат вас, они уничтожат твоих потомков, если ты сейчас убьешь меня. И это будет повторяться несчетное количество раз. Но даже когда вы будете в зените своего могущества, вы не дадите этой вселенной ничего, кроме искусства убивать. Вас будут видеть в качестве примера самые ужасные люди этого мира, и они будут вами восхищаться. Вы придумаете сотни оправданий убийствам, первыми придумаете, как солдатскую честь сделать важнее чести человека. Но больше вы не сделаете ничего. – Ученый дотронулся до щита солдата. Тот отпрянул. – Вы ничтожная и несчастная раса. Таких, как ты, будут тьмы и тьмы, но и вы не вечны... На смену вам придут другие. Надолго, очень надолго вы погрузите мир в хаос, от которого мы с таким трудом его вычищали... Казни меня, но знай: пролив мою кровь, ты станешь символом конца великого мира.

– Мне приказал центурион! – закричал солдат.

Он занес меч над ученым и пронзил его грудь. Умирая, ученый произнес лишь: «Мир ваш, солдаты. Очень-очень надолго».

Солнце закатилось.

...

Атмосферный фронт прочертил линию ровно посередине неба. Полнеба – темная ночь, только звезды сияют на небосклоне, полнеба – грозовые тучи. Примерно над точкой куспида проходит четкая граница, из-за разницы атмосферного давления грозовые облака клубятся и бьются, но не могут пробиться сквозь этот фронт. Тучи над головой и ясное звездное небо спереди. Так бывает очень редко.

На летном поле, наэлектризованном озоном молний, стоит новый «Фалькон» синего, сапфирного, цвета. Два турбореактивных двигателя окрашены в черный. Крылья изменяемой геометрии сложены в правильную трапецию. Это экспериментальная машина, шестого поколения. К высокому человеку у самолета подходит другой, темнокожий коротко подстриженный мужчина. Он выглядел на сорок пять, хотя был на треть старше. Человеку у самолета нет и тридцати. Когда он приближается к нему, молодой встает по стойке «смирно» и отдает честь.

– Вольно, Бен, – молодой принял стойку «вольно», – оставь это.

– Полковник Макферсон, сэр, мы полетим в такую погоду? – Бен показывает зажатым в руке гермошлемом белого цвета в сторону грозового фронта.

– Мы полетим в такую погоду, Бен. Больше такого шанса не представится, штаб настаивает.

– Разница давлений?

– Разница давлений.

Бен понимающе смотрит на полковника. Если фюзеляж выдержит переход из зоны высокого давления в зону низкого на той скорости, на которой они хотят пройти через фронт, то сплав, из которого изготовлен материал самолета, можно будет использовать для проекта «Вэкил».

– Штаб дает указание, – оба смотрят на диспетчерскую вышку, сияющую, как маяк в ночи, – садиться в машину.

Бен видит, как полковник Макферсон не моргая смотрит на вышку. По выражению Макферсона было понятно, что по радиации передают что-то в гарнитуру в ухе у полковника, слов Бену не разобрать. Бен садится в самолет. На поле никого нет, дежурный комендант приказал оставить взлетно-посадочную полосу, поле пусто. Только две фигуры, как тени, в синей ночи. Только системы зажигания «Фалькона» загораются синим цветом.

– Полковник, разрешите личный вопрос?

– Валяй, Бен, сегодня можно.

– Где вы потеряли глаз?

Полковник в упор смотрит на Бена:

– Как ты?.. Мой нейроимплант, его не отличить от человеческого глаза.

– Я вижу это, сэр. Не бойтесь, это незаметно.

– В Турции, сынок.

– Но вам было тогда около двадцати лет?

– Двадцать один. Мой первый боевой вылет. Осколки шли волной в несколько километров. Я слишком поздно развернул машину. Сегодня ты должен выполнить именно этот маневр.

– Разумеется, сэр.

– Бен, можно и я задам тебе вопрос? Кто твой отец?

– Я... Я не знал его...

– Извини.

Две фигуры садятся в самолет.

Две фигуры в кабине машиниста поезда стоят неподвижно. Они смотрят вперед, в ветровое стекло паровоза, который движется на скорости 130 миль в час по пустыням штата Канзас. Весь состав – только паровоз и телеметрический вагон. В пустыне ночью холодно, но от паровоза идет жар, он несется стрелой сквозь ночную мглу. В округе никого нет, но машинист Эндрю Ласуэлл дает на всякий случай гудок после каждых десяти двухмильных столбов. Марта смотрит вдаль.

Иногда она отводит взгляд на приборную панель, чтобы убедиться, что поезд не сбавляет тягу. В кабине оборудованы два стола, на одном из них разложены химические формулы и выведены реакции горения, на другом – чертежи всего отрезка. Поезд должен проехать не менее 125 миль в час на протяжении 98 процентов пути и не менее 130 миль в час – 90 процентов. Это жизненно необходимо, иначе исследования присадок из стронция-90 для угольного топлива будут закрыты, а вместе с ними и перечеркнуты два года исследований. В телеметрическом вагоне установлено автоматическое оборудование, которое фиксирует преодоление определенных точек на пути. Но выдержать должен не только локомотив, но и рельсы. Эндрю Ласуэлл смотрит вдаль, и Марта знает, о чем он думает: впереди мост Вашингтона. Его пока не видно, но он должен появиться через 20 миль на горизонте.

– Этот мост построен в начале XIX века, он вообще планировался для конок.

– Я знаю. – Марта не отводит взгляда.

– Если мы не снизим скорость хотя бы на треть, мы ударим по нему, как молотом по наковальне. В тот момент, когда колеса пройдут температурные швы в начале моста, у него вылетят все заклепки.

– Нет, Эндрю, не вылетят, поверь мне. Держи скорость.

– Вышка, я «Фалькон», набираю высоту... Черт возьми! – Бен взглянул через стекло кокпита вправо. – Вы видели?

На фоне ясного летнего неба из грозовых туч рванула молния. Она белой прожилкой вырисовалась на фоне звезд, будто бы соединив, как в детской рисовалке, самые важные точки.

– Да, Бен, – гроза, – в гермошлеме звучал искаженный дистанцией и частотой голос диспетчера.

– Но тебе ведь к этому не привыкать, – сказал полковник Макферсон сзади Бену почти на ухо.

– Штаб считает, что это хорошо, – опять голос в гермошлеме, – мы проведем испытание нового сплава не только на переход барьерного давления, но и на электролитическое воздействие. Продолжать испытание.

– Есть.

Молча Бен потянул на себя штурвал самолета, светящегося антрацитовым блеском в свете молний. Красный огонь из турбин резко изменил цвет на лиловый, и самолет взмыл в самую гущу облаков.

– Настраиваю приборы на стабилизацию изображения.

Компьютерная голограмма выстроила изображение на приборном визире, и облака пропали, появились очертания местности, все, вплоть до мельчайшей детали. Бен посмотрел вправо и влево – вокруг была непроглядная темень туч. Где-то вдали громыхали молнии. Визир показывал «ясно», как в безоблачную лунную погоду.

– Ну что, навертелся головой? – Голос полковника Макферсона тоже казался искаженным из-за гермошлема. – Приступить к выполнению учебного задания.

– Есть, сэр.

Бен перевел управление на себя и стал набирать скорость.

Огромная аудитория. Кажется, на столе газета. Написано что-то новым готическим шрифтом. Первые две цифры даты – 18. Две последние цифры не видно, их закрыла «Книга

лемм» Архимеда, первый перевод на немецкий. Пустая аудитория, весь свет – от двух свечей на столе в самом низу студенческого амфитеатра. Это потоковая аудитория университета. Свет падает на книгу и тетрадь, исписанную размашистым и некрасивым почерком. Для тех, кто разбирается в графологии, очевидно, что это почерк гения. В аудитории, а может, и во всем здании, никого нет, для этого человека нет никого вообще. Он сидит, в потертом пиджаке, круглых очках, смотрит прямо перед собой, губы шевелятся почти беззвучно.

– Метафизическая природа логики напрашивается на единственно верный вывод о непротиворечивости всего возможного и настоящего. Заставляет императивно видеть только единственную истину в истоке возможностей и реализовывать ее в соответствии с правилами постижения окружающего...

Параллельно он записывает что-то в тетрадь; когда он пишет, нелепо сокращая, он молчит, губы его почти не шевелятся. Записав что-то, переворачивает страницу. На следующей странице – расчеты. Он знает, что до него так никто не считал. Если посмотреть в его глаза – вы не увидите в них присутствия, он сейчас с Платоном и Бергсоном обсуждает строение мира.

...только истинное осознание бытия может дать энергию жизни, энергию движения, которое не необходимо, но естественно сопровождает существование каждого атома во вселенной. Эта энергия непознаваема, но ощущаема, как ощущается момент времени. Время, задеваемое сознанием, не изменяет своего хода, оно стремится к продолжению, и в этом – следствие энергетического импульса метафизического характера. Недопустимо избегать осознания этого импульса при продолжении гносеологии, недопустимо...

– Недопустимо снижать скорость, Эндрю, поверь мне.

Впереди возвышался мост – великое строение великой эпохи созидания. Безоблачное небо над головой и поезд, побивший мировой рекорд на коротком участке, но пока отстающий на длинном, рвущийся навстречу обрыву, через который этот мост был проложен.

– Я все рассчитала тысячу раз. Мы разработали новые алгоритмы для исчисления сопротивления материала на таких скоростях. Раньше они применялись только для теоретического исчисления сопротивления в воздухе. Мы переложили их на землю. Мы спустили математику на землю, Эндрю, и все для того, чтобы эти присадки запустили в производство: если у нас получится, вы станете самым знаменитым машинистом в стране, мистер Ласуэлл.

Марта заметила, как рука Ласуэлла тянется к дросселю.

– Не вздумай снижать! – крикнула она и почти накинута на его руку. Рука Ласуэлла застыла.

– Я и не думал, мисс Иффэ, – и потянул рычаг в сторону от себя.

Скорость поезда росла на спидометре: 130 миль в час, 140 миль, 142, мост неотвратимо приближался с невероятной скоростью навстречу локомотиву, скорость 142 мили в час, 143, скорость 144 мили в час.

– Скорость 5 М. Вывожу на обратную стреловидность.

«Фалькон» пролетал вдоль кромки грозового фронта со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Огонь турбин сжигал тучи позади машины.

– Выполняй.

Бен изменил параметр, и «Фалькон» расправил крылья. Навстречу воздуху и ионам, разрывающим материю атмосферы, летел самолет с расправленными крыльями, направленными в сторону неизвестности. «Какое же это красивое зрелище!» – пронеслось у него в голове. Капли дождя не успевали падать на фюзеляж, машина проносилась с невероятной скоростью мимо материи, формирующей реальность.

– Если материя формирует реальность, то осознание этого импульса должно находиться в трансцендентальном положении относительно реальности.

Человек в потертом пиджаке и круглых очках убрал пот со лба.

– Об это спотыкались Пирс и Скэнворд. Они не смогли воплести Бергсонову жизнь, импульс, в материю своей метафизики. Она была мертва, и они обходили это. Их трансцендентность иллюзорна, но гармонично выстроена. Как гармонично выстроенная модель вселенной и ее осознания может допускать такую ошибку в своей основе? Диалектически к ней не подступиться, а если действовать с точки зрения индукционных механизмов...

– ...то необходимо метафизически сверять разумное с энергией.

– Что?

– Извините, мисс Иффэ, просто я очень напряжен, мне кажется, скорость слишком...

– Не снижай!

Пар оставался далеко позади паровоза марки «Мэлорд». Никогда еще никто в этой пустыне не проносился на такой скорости мимо вековых скал, выветриваемых столетиями. Никогда еще ничто рукотворное не достигало такой скорости на земле.

– Я чувствую, как бьется мое сердце.

– Это мое, Эндрю.

Мост надвигался с невероятной скоростью. Марта взяла карандаш и быстро подсчитала на схеме:

– Мы едем со скоростью половины скорости свободного падения из тропосферы. Не снижать скорость, мистер Ласуэлл! Мы переедем его.

– 7 М. 8 М. 9 М.

«Фалькон» совершил огромный круговой полет по кромке грозового фронта и теперь вновь выходил в начало своего пути.

– 10 М. 11. 12.

Уже было тяжело, стабилизаторы не помогали.

– 13.

«Фалькон» был нацелен прямо на область давления и бесконечного ясного неба.

Энергия продолжала вырываться из турбин самолета, он несся на немыслимой скорости. Энергия пропитывала каждый атом тела Бена и Макферсона, как она пропитывает каждый атом во вселенной. И именно этот импульс обеспечивает движение жизни, нарушение противоречия, которого не должно быть в этой модели. Уравнение должно быть решено, тут не может быть ошибки, эта модель идеальна, но в ней нет движения.

– Модель моста никогда не была идеальной, он горел во время засухи десять лет назад...

– Держать скорость! – Иффэ закричала на Ласуэлла. – Держать скорость! Держись, Бен! – Иффэ шепнула на ухо Бену, когда крылья «Фалькона» полностью расправились и конус носа самолета заострился: механизм срабатывал при достижении критических скоростей.

«И если эта энергия будет продолжать действовать, – человек в старом пиджаке говорил про себя, выводя сверхсложные формулы в блокноте, – как она действует в каждый момент времени, нет, каждого времени, то все должно происходить...»

Невозможно контролировать столько процессов одновременно, справа, как в зеркале, в стекле кокпита виден поезд, едущий навстречу своей гибели, слева – сходящий с ума философ. И это все. Этого никто не может, кроме него. «Соберись, ты можешь», – сказал Бен себе и Марте.

«...если эта энергия будет продолжать действовать, как она действует в каждый момент каждого времени, то все должно происходить...»

– Иффэ, температурные швы. Сейчас!

– Сейчас, Бен!

«...то все должно происходить...»

– Я понял! – Он вскакивает. – То все должно происходить... правильно! Одновременно можно просчитать каждый процесс каждого события. Рождения и смерти, старение, умирание, воскрешение – все это происходит в мире только тогда, когда это правильно. Развитие – правильно. Развитие – одновременно.

Передние колеса локомотива с невероятной мощностью ударяют по рельсам, начинающимся на мосту, поезд вздрагивает, время останавливается, когда «Фалькон» вырывается из бесконечной пелены облаков на скорости 20 000 км/ч в безоблачное пространство.

– Я поняла... Все это очень... правильно, – говорит Иффэ.

Поезд на скорости 140 миль в час с грохотом проезжает мост Вашингтона. Для Иффэ и Ласуэлла самым долгим был момент удара со швом, для стороннего наблюдателя все это произошло в одно мгновение: когда пришло осознание, что «Фалькон» не рухнет в области изменившегося давления, «Мэлорд» был уже на другой стороне обрыва. «Фалькон» летел в сторону загорающегося рассвета на горизонте. Где-то позади ревели турбины и сверкали молнии.

– Молодец, Бен! – Полковник Макферсон похлопал Бена по плечу.

– Молодец, Бен... – человек в темной аудитории шепнул это беззвучно, только губами, будто он прочитал это в книге. Он смотрел перед собой невидящим взглядом. Перо его выпало из ладони. Уравнение, написанное свежими чернилами, впервые было создано в этом мире. Губы Фраппанта, первого философа, беззвучно шептали: «Уравнение должно быть решено. Уравнение может быть решено».

Часть I (Числитель)

1885

В 1885-м Джон Лэйдж был вторым советником посла США в Белграде. Неофициальная помощь американского правительства молодому славянскому государству выражалась, в общем, довольно странным способом, заключающимся большей частью в каких-то странных денежных подачках каким-то странным людям. Королевство Обреновичей было жалкой пародией на западные монархии, давно ставшие республиками, и еще более смешной попыткой создать славянско-православное государство, каким была Россия. Пороховой бочкой стали Балканы в это время, их постоянно трясло, кто-то подносил и уносил зажженный фитиль, а послы всех стран всеми силами пытались затушить постоянно разгоравшееся пламя. Бессмысленная Сербско-Болгарская война, оставившая шрамы, так и не зажившие на всем полуострове, постоянно напоминала о себе. Казалось, посольство было единственной точкой стабильности во всем государстве, хотя государством в том смысле, какой американцы вкладывают в слово State, Сербии назвать было сложно.

— Вы ведь понимаете, что это болевая точка, экселенц, и она не заживет?

— Понимаю, мистер Фраппант, но я ничего не могу сделать. Департамент Государства настаивает на спонсировании этих людей.

— Хорошо.

— Что?

— Что вы это понимаете.

Хотя, конечно, ничего хорошего в том, что делал Лэйдж, не было. Он передавал доллары и золото, для Штатов ничтожные, неизвестным группам в стране — тем, кому указывали ему люди из Вашингтона. Так посольство оказалось впутанным в череду неудач, связанную со строительством Вршацкой железной дороги. Той самой, по которой более чем через сто лет будут раз в две недели пускать Danube Express. Имя посла мелькало на страницах сербских газет, которые только в посольствах и читали, пара чиновников в Белграде потеряли работу. Дело вышло, первую колею проложили, до второй дело не дошло, началась очередная Балканская война. К тому времени Лэйдж уже перебрался в Гринвуд, где получил советника Республиканской палаты Штата. Посольство в Сербии, как и война против северян, не помогло состряпать ему карьеру, о которой мечтал его отец. Но тогда Лэйдж не унывал. Воплощая в себе пассионарность американского гражданина, он старался не отставать от времени, но и вперед не напрашиваться. Этому его научила еще матушка.

В Сербии же он познакомился с Александром Меншиковым, бывшим старшим посланником русской миссии.

Александр Петрович Меншиков родился в 1845 году в богатой русской помещичьей семье. Отец его служил еще при Александре и в 1834 году женился на Марье Игнатьевне Семеновой, дворянке из миллионщиков. В приданое получил 150 тысяч и две деревни общим счетом в 4 тысячи душ. Но, несмотря на все это, женился исключительно по любви, как редко бывало среди богатых, а Петр Меншиков был очень богат, даже для родовитых дворян Москвы. Александру Даниловичу Меншикову он родственником не приходился ни в коей мере, во всяком случае он утверждал так. После женитьбы у Меншиковых родилось трое детей: сыновья Миша и Саша и дочь Ольга. Оба сына сделали военную карьеру. Михаил Меншиков, хоть и был однофамильцем Меншикова Крымского, но в Крымской войне участвовал лейтенантом и особых заслуг за собой не оставил, как и его более именитый однофамилец. Ольга вышла замуж за молодого дипломата, когда ей не было и девятнадцати. Алек-

сандр, пехотный майор, участвовал и в Балканской и в Турецкой кампании и даже покорял Среднюю Азию. В Бухарском Эмирате, командующий легким дивизионом, он наголову разбил туземные войска, что, конечно, было не его заслугой, но абсолютно логичным стечением обстоятельств – в высшей степени странно, если бы вышло наоборот. В свое время он был избран предводителем дворянства Калужской губернии. Его решающий голос почти дал ход конституционной реформе в России, но 1 марта 1881 года император Александр II был убит. Обстоятельства сложились другим образом.

Позже Меншиков уехал на Балканы. Больше из любопытства. Меншиков догадывался, что вскорости это место станет не болевой точкой, о которой говорил ему Лэйдж, а бикфордовым шнуром для всего мира. Понимая особую важность момента, он между тем ничего не сделал для того, чтобы предотвратить ситуацию. Меншиков знал, что ни американский посол, ни российский, ни французский ничего сделать не смогут. В отличие от Лэйджа, он воплощал не пассионарность, а типичное, свойственное только русскому интеллигентствующему интеллектуалу, безразличие. Лет через 30 он откажется от него, поскольку станет жертвой событий, которых, в силу своей пассивности, предвидеть не мог, и окажется рьяным сторонником одной из бесчисленных идеологий, что будет означать не что иное, как его духовную и интеллектуальную смерть, поскольку нет ничего хуже для зарождающегося гения, как стать фанатиком чего-либо. Фраппант никогда не встречался с Александром Меншиковым, он знал, что его ожидает. А вот с Лэйджем Меншиков встречался очень часто. Они сошлись на почве нелюбви к активным действиям, это их объединяло, несмотря на совершенно различные причины этой нелюбви. Позже они, тогда лишь сотрудники посольства, дружили до конца жизни. У них было все же много общего.

Лэйдж передавал американские деньги тем людям, которых называли в шифрограммах из Вашингтона. Это были и цыгане, и румыны, и албанцы, иногда сербы, но все они не заслуживали доверия. Лэйдж не видел ни причины своих действий, ни их последствий, он был чистой функцией государства. И ему это нравилось. Однажды, когда Фраппант выходил от посла, Лэйдж увидел его светлую голову, он спрашивал у секретаря, кто это, и ему ответили, что очень высокий чиновник в правительстве небольшого государства Эрматр. Больше в посольстве Лэйдж его не видел.

Деньги передавались в небольших кейсах, тогда это только входило в моду: в чемоданы, приспособленные для перевозки вещей, набивать деньги и отдавать их доверенному лицу. Как правило, доверенное лицо не пересчитывало купюры, а сразу брало их и, дыша перегаром, уходило в сторону от посредника. Лэйдж и был тем посредником, который оказывал помощь молодому славянскому государству.

Особого понимания, почему он должен был встречаться с этими людьми под покровом ночи в старом заброшенном монастыре, втайне от белградской жандармерии, у него не было и быть не могло. Это прекрасно понимал только посол, но он никогда не давал объяснений на этот счет, и в дипкорпусе возникло подозрение, что, возможно, он и сам не знает.

Дважды Лэйджа чуть не поймали. Первый раз его спасло тупое везение: когда он передавал очередную партию человеку, выглядевшему не лучше, чем самый последний оборванец на улицах Гринвуда, откуда Лэйдж был родом, его заметил человек с ружьем, возвращавшийся, очевидно, с вечерней охоты. Лэйдж видел, как человек, как и всякий простой представитель народа, страшась всего неизвестного, взвел курок и начал медленно идти Лэйджу навстречу. Но его собака залаяла и побежала куда-то в сторону, человек побежал за ней, а в это время оба участника передачи денег скрылись.

А вот второй раз был серьезнее. Лэйдж немного опоздал на встречу, до этого самого момента пунктуальность не была его сильной чертой, и когда он пришел к месту у заброшенного монастыря, он увидел, что тот, кого в шифровках звали «Радко», не появился. Он ожидал какое-то время, прислонившись к стене монастыря. Пока он ждал, он не придавал

значения шуму шагов снаружи. Когда же он понял, что это за шаги, он ринулся бежать, чем только усугубил свое положение. На подобные встречи было запрещено брать с собой документы из посольства. В случае провала, которых быть не должно, необходимо было представиться туристом – любителем древностей, легенда была придумана, очевидно, для протокола, она ни разу не применялась. Лэйдж от неожиданности – а увидел он не что иное, как взвод шинелей городской жандармерии, – ринулся бежать. Естественный рефлекс сработал и у солдат: они, увидев движущийся объект в сторону, противоположную их направлению, побежали за ним.

У Лэйджа за спиной была кадетская подготовка и даже служба в войсках Конфедерации, но за долгие годы канцелярской работы физическая его нагрузка падала обратно пропорционально скорости появления одышки при ходьбе. Поэтому бежал он по темным городским кварталам с трудом. Самое сложное было не выронить кейс с деньгами, потому что, если жандармам вздумается проверить саквояж туриста, они будут очень удивлены, увидев там свеженькие, как салат на завтрак, американские банкноты. По окраинам бежать было легко, большие семьи из небольших домов легли спать уже с закатом, а вот в центре города жизнь кипела. Народы всех национальностей полиэтнических Балкан напивались допьяна, дрались и пели громкие песни. Это был мир люмпена в самом марксистском понимании этого слова.

Лэйдж бежал, но понимал, что следующий квартал ему не пройти, слишком много народа: укрыться в толпе ему, в его новом костюме английского покроя, будет сложнее, чем родинке на подбородке его жены, а сдача жандармам не сулила ничего хорошего. Он бежал до определенного момента, пока не увидел открытую дверь в переулке, а рядом стоящего и курящего того самого чиновника из кабинета посла, некое «высокое лицо» из далекого Эрматра. Он смотрел на свои золотые часы на цепочке и в тот самый момент, когда Лэйдж завернул за угол, закрыл их и сказал ему так, что слышал только он:

– Мистер Лэйдж, давайте чемодан, я передам его Радко.

– Кто вы? – спросил запыхавшийся Джон Лэйдж.

– У нас нет на это времени. Два варианта: либо вы отдаете чемодан мне, я передаю его Радко, а вы завтра скажете послу, что отдали его Радко в монастыре, либо я сдаю вас жандармам. Думать времени нет, они сейчас вас нагонят, и вы уже знаете, как вы поступите.

В этот момент Лэйдж стоял как вкопанный, Фраппант протянул руку к чемодану, рука Лэйджа безвольно разжалась, он взял его, открыл дверь, в проем которой впихнул Лэйджа, дал свои часы, белую бумажку, на которой было написано «Сидите здесь 5 минут», и вышел с чемоданом на главную площадь.

Лэйдж вышел через два часа, когда даже центр рыночно-базарного, пьяно-гулящего Белграда заснул. Он никому ничего не сказал, а на следующее утро, гладковыбритый, был на работе. Как ему и было велено, он сказал, что передал чемодан Радко. Больше его на такие задания не посылали, объяснив это тем, что закончилось его «дежурство», а через три месяца закончилась и его командировка, и он вернулся в Гринвуд. Больше Лэйдж никуда и никогда не опаздывал. Если выразаться буквально.

1888

В классах, как всегда, шумно. Мальчики бегали туда-сюда, до уроков еще около пяти минут, и это время грех было не использовать, чтобы порезвиться. В школы царского времени учиться стали приходить не только дети дворян и мещан, во многих случаях занимавшиеся отдельно друг от друга, но и крестьянские детишки, которые, в большинстве своем, учиться хотели, поскольку это освобождало их хоть на некоторое время от рабства крестьянского труда. Безусловно, в силу природы своей, дети крестьян не блистали знаниями, но были и исключения. Одним из них был Матвей Соргин, маленький светленький мальчик одиннадцати лет от роду. Он происходил из семьи крестьян средней руки, не богатой, но и не бедствующей, крестьян, выросших в первое некрепостное поколение. Они еще помнили свое детство, помнили, как их родители отработывали барщину у Меншиковых, как секли за провинности, помнили и объявление царского манифеста, почти разорившего их. Но мало-помалу хозяйство было восстановлено, крестьяне жили, простое крестьянское бытие шло своим чередом.

«В 1877 году от РХ Петр Соргин, крестьянин Тверской губернии, был венчан на Матрене Соломатиной, крестьянке Тверской губернии», – значилось в церковной метрике. А через год у них родился сын и назван был в честь деда Матвеем. Соргин Матвей Петров сын. Отец несказанно обрадовался рождению сына, а не дочери. «Помощник растет, – хвастался он жене и всем, – вот тогда заработаем. Вся волость, держись!» Но, вопреки мечтам и видению отца, Матвей никогда к крестьянскому труду особенного расположения не испытывал. Правда, Матюшу, как говорится, особенно никто и не спрашивал. Надо было по воду сходить – шел по воду, по ягоды – шел по ягоды, хвороста зимою натаскать – и хворост таскал. Но все это делалось как-то лениво – правда, к чести Матвея надо заметить, никогда не скверно, работу свою он выполнял правильно. Больше же всего Матвея привлекали книжки с картинками, хранившиеся у соседа – церковного настоятеля. Однажды отец Амвросий пригласил соседей на чай, зная, что они – люди хорошие, добрые, и вместе с ними пришел и их пятигодовалый сын. Взрослые, как ведется, заговорились о жизни, о ценах на зерно в этом году, о новом земском начальнике и обо всем о том, о чем взрослые говорят. А маленький Матюша загляделся на открытую книжку с картинками, лежащую на столе у хозяина. Отец Амвросий это заметил и рассказал о картинке, нарисованной на развороте. Там был изображен человек в бедной одежде, медленно и грустно бредущий в сторону богатого белого строения, а навстречу ему бежал пожилой человек с двумя молодыми людьми. То была притча о блудном сыне. Больше всего Матвея поразили маленькие значки на другой странице, и он с удивлением для себя обнаружил, что эти значки имеют важный смысл и по ним можно многое узнать. Ни отец его, ни мать грамотными не были, равно как и их отцы и матери. Амвросий предложил соседям научить их сына грамоте и арифметике. Тут следовало все тщательно обдумать. Воспитывать троих детей было трудно, необходимо было терпение и особенное родительское чутье, чтобы всех троих – двух сыновей и дочь – приучить к работе, но если их старший сын обучится грамоте, то, может, и добьется чего более в жизни существенного. На том и порешили, пускай учится. Матвей проявил способность к учебе, потому что «любое дело, производимое с желанием, получается», – учил его отец Амвросий. Через год он уже свободно читал Священное Писание на гражданском и на церковнославянском. Еще через год знал основы латыни и умел производить в уме и на бумаге чисельные вычисления до тысячи со всеми четырьмя основными действиями. Так ему стукнуло семь лет, и родители отдали сына в местную школу, где помимо Матвея учился еще только один крестьянский ребенок – родители сельчан неохотно отдавали детей в школу, в семьях нужны были рабочие руки.

Таким образом, попал Матвей Петров Соргин в гимназию. Состав классов был совершенно для земской школы ординарный. Два крестьянских сына – один сын церковного дьячка, почему-то пошедший в гражданскую школу, а не в духовную семинарию, двенадцать из мещан и трое ребяташек – представителей беднейших слоев благородного сословия, не сумевших отдать свое чадо в привилегированное училище. Таким был класс, в котором уже четвертый год учился Матвей.

Школа была построена на земские деньги стараниями местных властей, радевших за высокий уровень образования. Здание школы стояло на отшибе села. Оно представляло собой деревянное срубленное строение о двух этажах. Учитель был немец, как это бывало среди земских учителей, Карл Иванович Фриц. Типичный сын типичного немецкого бюргера, приехавшего в Россию еще при Николае. Карл Иванович был тогда еще ребенком, но даже в России, в провинции, Карлуша воспитывался в немецком бюргерском духе. Так он прожил некоторое время, не испытывая никакой тоски по исторической родине, и после жизни в столице он, как когда-то и его отец, провинциальный доктор, посвятил свою жизнь служению русскому народу. Свое же служение он видел в преподавании младшим классам основ наук. Помимо Карла Ивановича в младших классах работал еще только один учитель, раз в неделю читавший Слово Божие.

Матвей с раннего возраста был способным учеником, показавшим исключительную тягу к знаниям. Он оспаривал первое место по учению и по способностям с одним из тех дворян, учившихся с ним в классах, родители которого по дворянским меркам были разорены, но все равно затрачивали крупные средства на обучение их единственного сына, поскольку считали образование неотъемлемой частью дворянского сословия. Александр Каховцев был так же, как и Матвей, одиннадцати лет, высокий, темноволосый и дружил, в отличие от Матвея, имевшего хорошие отношения со всеми одноклассниками, только с дворянами.

Веселье, развернувшееся в классах, было вызвано одним чрезвычайно важным спором. Мальчики спорили о социализме в его самых разных проявлениях и ипостасях. Мальчики, в одиннадцать лет, говорящие о политике, – это Россия. непонимание политики – она же.

Среди ребяташек был один из мещан, Сережа Марков, славившийся тем, что он знал когда-то одного, по его утверждениям, социалиста и даже однажды держал в своих руках настоящий номер «Колокола». Так вот, Сережа уверял своих сотоварищей, что социализм – это будущее не только Европы, но и России, что землевладение должно быть общее у всех, а собственность на землю – пережиток прежних времен. Спор был в самом разгаре.

– Да как же это? – говорил один из его друзей-мещан, с удивлением обнаруживший, что его друг – социалист. – Марков, вы утверждаете, что России нужен социализм?

– Именно нужен, – с гордостью и твердо парировал Сережа, отнюдь не понимавший ничего не только в социализме, но и вообще во владении землей, – бесспорно нужен, как единственный путь развития нашей Отчизны.

– То есть, Сергей, – говорил Саша Каховцев, – сейчас или когда-нибудь, вы предлагаете всю землю поделить между всеми поровну?

– Боже вас, Александр, побереги...

– Как же, Боже? – спросил еще один мальчик, Миша Погорохин, – социалисты ведь не верят в Бога.

– Первое, Михаил, – холодно начал Марков, – вам бы следовало помолчать, пока вас не спрашивают. Второе, я еще не заверял, что я социалист, а третье, что бы я вам заметил, это бы очень не посоветовал разбирать каждое мое слово, тем более сказанное для красоты речи, чего вам, видимо, не понять.

Погорохин покраснел и замолчал, и больше ничего в классах не говорил: хотя Марков и не понимал ничего в социализме, он был убедителен. Достаточно для того, чтобы убедить мальчика.

– Ну так продолжим, – действительно продолжил Сережа, – разделение сейчас земли невозможно, поскольку не только наше, но и самые наипросвещеннейшие американские и европейские общества не готовы к такому перераспределению. Но, господа, прошу обратить ваше внимание на следующий факт, представленный еще классиками социализма, – разгорячился мальчик, – что, когда общество изменится, а это, несомненно, произойдет, перераспределение земли будет возможно.

– Как же возможно, – опять начал говорить Саша Каховцев, – как же, Марков, возможно? Это значит, что я, потомственный дворянин, из семьи бывших помещиков, как и присутствующие тут из благородного сословия, мы... мы будем владеть земельными наделами совместно с семьей, допустим... – он замялся, – ну... ну, допустим, Соргина? – Каховцев завидовал Соргину, он понимал, что Матюша – мальчик крестьянский, а знает столько же, а может, даже и больше, чем он. Это злило, раздражало барчонка, воспитанного дворянами, с трудом пережившими реформы.

Последнее не могло не задеть Матвея, тем более что его самого это касалось самым прямым образом.

– Сашка, – начал было Матвей.

– Александр.

– Ладно, Александр. Так вот, Александр, негоже вам, как дворянину и барину, сравнивать со мною, у нас, может, и земли немного, но мы ее обрабатываем сами. Вопросы о социализме, ребята, просто не решаются. Но только думается мне вот что: делить-то землю, может, и действительно нельзя. Потому как издавна заведено, что есть дворяне и есть крестьяне, и нарушать порядок такой негоже. Что до социализма, то вроде как и замысел-то неплохой, что все общее, но *только* народ-то на это не согласится никогда – конечно, если его совсем не застрашать и не довести до последней стадии терпения. Ребята, народу, может, идея общих владений и прельстится поначалу, но все равно откажутся потом, так как тоже издавна еще заведено, что богатые есть и бедные, и вот если бедных и поболее будет, то сила-то еще у богатых, и, может, еще долго у богатых-то будет. Так я думаю. – Эта маленькая речь, сказанная с причудливым крестьянским говором тверичей, произвела на мальчиков впечатление. Так бы они, может, и продолжали свои гуманитарные и разумные споры в пользу бедных, которые всегда тревожат умных мальчиков, собравшихся вместе, если бы не вернулся Карл Иванович.

– Так-с, господа, прошу начинать занятие. Приветствую, приветствую, – сказал он, когда дети встали у своих парт, – проведем переключку. – Карл Иванович говорил с жутким акцентом.

Дальше пошла переключка. Все дети оказались на месте.

– Вот и *gut*, – иногда учитель вставлял в свою речь характерные немецкие словечки, которые знают абсолютно все. А «*gut*» было вообще его любимым высказыванием, и он вставлял его всюду, где только можно и нельзя, даже если дела шли и не совсем *gut*. За это Карла Ивановича некоторые детишки и прозвали господином Вотыгутом.

– Теперь давайте посмотрим, на чем остановилось наше изучение в прошлый урок. – Аха, – нашел он, – мы изучали с вами расположение небесных тел. Итак, кто может нам напомнить, как расположены небесные тела в Солярной системе?

В классе этот вопрос вызвал смутнение. Мало кто учил это и повторял уроки. Но Матвей поднял руку.

– Да, да, Соргин, вы знаете? Так расскажите, пожалуйста, как в нашей системе расположены планеты.

– Меркурио, – смело начал Матюша, – Венус, Гея, или Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уранус и Нептун.

– Правильно. Gut, gut. Первые семь планет были известны с древнейших времен людям. Еще Архимед знал о них. Кто же открыл Уран и Нептун? Вопрос к классу.

Как и следовало ожидать, этот вопрос, еще труднее первого, также поверг класс в молчаливую, почти философскую задумчивость, хотя сомневаться, в общем, было не в чем, дети просто не знали ответа. В классе тянулись две руки.

– Лес рук, господа, я вижу лес рук. Всё же ответьте, кто открыл Уран и Нептун, господин Каховцев.

– Уран был открыт еще в осмнадцатом столетии европейским астрономом Уильямом Гершелем. Нептун же был открыт по арифметическим исчислениям в 1846 году, а вот кем, я, Карл Иванович, не помню.

– Gut. Кто знает, кто же все-таки открыл этот загадочный Нептун? Господа, этот человек внес мировой вклад в развитие астрономии, а вы не знаете, кто он. Это не есть хорошо, – на немецкий манер заметил он, – имена таких людей надо знать. Может, нам опять ответит господин Соргин?

– Нептун был открыт астрономами Иоганном Галле и Генрихом д'Арре по расчету французского астронома Урбена Леверье... вроде бы.

– Gut! Gut, Мэтью, совершенно верно, и не вроде бы, а точно. Именно так все и было. Я знал одного профессора, знакомого Иоганна Энке, под предводительством которого работали д'Арре и Галле. Он мне рассказывал, уже тогда совсем grauhaarig, какую детскую и восторженную радость испытывал Энке. То ли подумать, господа, более чем через полвека после открытия Урана, когда почти сразу было замечено отклонение его орбиты мэтром русской астрономии Андреем Лекселем, ученые немецкой обсерватории открывают ту самую тайную планету, координаты которой были вычислены на бумаге. Невиданное дело, господа! Это как сбить муху над рекой, вычислив ее местоположение математически. Математически, великое дело! С помощью математики, господа, можно не только планеты открывать!

Ребятишкам нравилось, как учит Карл Иванович. Он действительно многое знал и умел рассказать это детям. Сам он, бывало, говаривал: «Если ученый не может объяснить десятилетнему мальчику самую сложную научную теорию, то это schlechter ученый».

Классы длились полдня. Потом, после полудня, дети шли по домам. До летних вакансий оставалась еще неделя, и эта последняя неделя была посвящена зачетам и экзаменам, на которых проверялись знания школьников, полученные за год. Почти по всем предметам у Соргина были отличные оценки, лишь по русской словесности он получил «хорошо», поскольку даже сейчас, через три года учебы, никак не мог избавиться от своего говора, потому что просто любил его. Писал, однако, он грамотно, почти никогда не путал «#» и «е» и мысль свою доносил в сочинениях всегда, как выражался Фриц, изрядно. Нравились Матвею и уроки богословия, он начал свое обучение со Священного Писания и уже довольно неплохо знал Божественный Закон, в этой дисциплине значительно оставляя позади своего главного соперника Каховцева.

Когда летние каникулы начались, родители, порадовавшись за своего *старшего* сына, однако, объяснили ему, что в поле страда и семье нужны его руки, хотя он и сам прекрасно понимал, что лето значит для крестьянина. Чтобы облегчить заботы семьи, он даже устроился подпаском, за что ему, как свободному крестьянину, даже полагался оклад в 20 копеек за месяц. Матвей всегда брал с собою книгу, полученную у отца Амвросия. Он вообще набрал много книг для летнего прочтения, желая лучше подготовиться к предакадемическим классам. Он даже взял учебник латыни, но вскоре его забросил и читал стихи. Ему очень нравились стихотворения и некоторые из них заучил наизусть.

Однажды, а именно 1 июля того же года, он, как всегда, после рыбалки пришел домой к полудню пообедать. Пришедши домой, он увидел у родителей за столом Карла Ивановича. Родители с учителем пили чай, припасенный как раз для гостей. Завидев в дверях Матвея, Фриц ласково сказал: «А, господин Соргин, да-да, проходите, я тут к вам по важному делу пришел». «Да, Матюх, заходи, Карл Иванович тебе должен сказать что-то важное», – пригласил отец, он был серьезен.

– Вот и gut. Итак, господин Соргин, – медленно начал Карл Иванович, и глаза его отчего-то стали грустными, – вчера министр просвещения господин Делянов направил, а Его Императорское Величество подписал один указ, как бы вам сказать, да вы присаживайтесь, господин Соргин, присаживайтесь, – Матюша сел, – один циркуляр... вносящий некоторые коррективы в государственные законы об образовании. Этот циркуляр, он... он предписывает ограничить в обучении некоторые категории подданных России, в частности, – он запинаясь, – в частности и вас. Мы и раньше-то нарушали закон, оформив вас как сына лавочника, позволило это сделать только то, что ваша семья не из крестьянской общины, а живет обособленным частным хозяйством. Да зачем вам вникать во все эти тонкости... Это далеко не значит, что вам нельзя более продолжать учиться... нет, не думайте, что это приговор какой-нибудь вам, тем более у вас есть и таланты к образованию, но, – тут ему особенно тяжело стало говорить, акцент, если бы не привычка Матвея понимать речь учителя, сделал бы предложения Карла Ивановича крайне труднопонимаемыми, – вы вполне сможете продолжить получать образование, но несколько... несколько другого рода, если вы, конечно, захотите. Вам всегда будут открыты двери духовной семинарии, в которую по-прежнему будут принимать детей крестьян, а после, возможно, даже и получение высшего академического образования, хотя бы в Киевской духовной академии, если вы пожелаете.

Матвей не по-детски серьезно посмотрел на учителя:

– Спасибо, Карл Иванович, – начал он, – я все понял. Я благодарен вам, что вы сообщили мне. Мы, крестьяне, люди подневольные, и как сказано, так и будет. Спасибо.

Карл Иванович встал, поблагодарил Соргиных за чай, попрощался и ушел.

– Ну чего, Матюх, – спросил отец, – ты чего, сильно расстроился, что ли? Да ладно тебе, а пахать кто будет? Ну хочешь, сынок, хочешь, и в семинарию пойдешь, тоже ведь образование, а потом видишь куда, в Киев! Хочешь? Ну не молчи, Матюха, ну чего ты, так распеживался, что ли? А этот учитель, он хороший человек, да? Вроде неплохой, ему тоже, – он осекся, – ему жалко, как быть, что нельзя учиться просто.

– Как он сказал, – спросил неожиданно Матвей, – Далянов?

– Министр-то этот? Вроде Делянов.

– Делянов...

– Да ладно тебе, ну чего он, министр и министр, ну нельзя больше в гимназиях учиться, и раньше такого не было, никто и не учился, и хорошо жили, и даже неплохо, а это уж потом образование деревенским-то, сельчанам то бишь, давать стали, а раньше и не было никогда такого. Ну, сынок, ну чего ты, сильно расстроился?

– Не пойду в семинарию, не надо.

Весь остаток дня он был чрезвычайно серьезен. Сидел на завалинке, даже не читал, тем более не играл с деревенскими ребятами, а все о чем-то думал.

1901

Марта родилась в первый день века. Крошась, как песочное печенье, Австрийская империя была ее колыбелью и ее первым домом. Она воспитывалась в одной из самых знатных семей Вены, в доме Иффэ. Все детство Марта провела под музыку Джоаккино Россини. В доме Иффэ, вопреки вкусам общества, не любили всех великих австрийцев. *Рара* считал Моцарта чересчур демократичным. Ему нравилась изысканность переливов Россини. Бетховена в семье не слушали, он казался *рара* Марты слишком северным. Доницетти, Скарлатти (но только португальского своего периода), Верди, Пуччини. Они слушали итальянцев. И Марта всегда была благодарна *рара* за это. Камерный оркестр Иффэ исполнял арии так, что послушать виртуозную игру в дом приходили все представители благородного сословия Австрии. Но благодарность Марты отцу имела другую причину. По прошествии многих лет ей казалось, что в детстве необходимо слушать именно итальянцев. Ничто так не воспитывает слух и вкус, как итальянская классика. Она любила музыку. И так же она будет воспитывать свою дочь. Она была в этом уверена.

Кроме всего остального, она помнила, чего у нее тогда было очень много. Времени. Время наполняло ее жизнь бесконечно, безмерно, и она думала, что так у всех. В отличие от многих, не так поздно она поняла, что очень ошибалась. Тогда время для нее стало валютой, которую невозможно разменять, невозможно купить, невозможно продать. Время – это деньги, которые можно только тратить, в самом начале своей жизни она тратила их бездумно.

Она прекрасно помнила парадные мундиры гостей. У *рара* был в гостях весь цвет австрийской военной и штатской аристократии. С детства она знала, что такое балы. Для нее все это были игрушки. Блестящие, как стекло, и снег, и лед на Рождество. У семьи был замок, почти дворец, в Альпах, *рара* выкупил его у какого-то разорившегося сумасшедшего баварца. До шести лет, пока Марте не исполнилось семь, Иффэ ездили туда каждое Рождество. Потом, со смертью *татап* Марты, они перестали бывать там. От *татап* у нее остались совсем детские, самые теплые и самые нереальные воспоминания. Она помнила, что на похоронах плакала. Помнила, как за одну ночь поседел *рара*. Больше ничего. *Матап* осталась одним фиолетовым пятном в ее жизни, она очень любила лиловый цвет, всегда одевалась в платья лилового, темно-сиреневого цвета. Но у нее сохранились черно-белые фотографии. Мама была очень красивой, но Марта совсем на нее не похожа. Фотографии ее и *рара* долгое время стояли у нее на столе. Это все, что осталось ей от родителей.

Тогда же, в детстве, она полюбила поезда. Иффэ все вместе много путешествовали по Европе на первых трансевропейских паровозах. До десяти лет Марта побывала в Англии, Германии, Дании, Швеции, во Франции, была в Гельвеции, они жили в лучшем отеле, самом роскошном номере. Это было за год до того, как умерла *татап*. Ей пять лет. Она помнила бесконечную метель и тепло гелльвейских ресторанов. Седые мужчины, здоровающиеся с *рара*, картинность происходящего. Марта считала, что, преимущество памяти над фотографиями заключается в том, что, насколько бы фотографии реалистичны ни были, нет никакого доказательства, что то, что на них изображено, – было. А память дает это. Поэтому она любила поезда, они сохраняются в памяти, как истинный штрих действительности. Они – первая и последняя аксиома доказательности путешествия. Самолеты не дают этого ощущения. Летать из Осло в фавелы – значит нарушать естественную ткань событий. Впрочем, из Осло не попадешь в Рио-де-Жанейро иначе.

Марта никогда не была капризным ребенком, ее детство, как период становления в жизни, был сопряжен с ощущением твердости поведения, сдерживания эмоций. Несмотря на Россини и Доницетти, она получила чистейшее немецкое воспитание. У нее были подруги, капризные фрейлины кайзера. Марта видела, как мучаются с ними матери, но не

помнила, чтобы *tatam* не спала ночами, вставала, убаюкивала. Воле она подчинила свое поведение и прожила так всю жизнь, и именно поэтому воля – единственное, чему она подчинялась.

Пока она жила в атмосфере австрийской сказки, она не знала, не могла знать, что происходит в мире. Когда Иффэ ездили в Санкт-Петербург, Марта не знала, что в это самое время Ульянов, в нескольких километрах от того отеля, где они жили с *tatam* в Гельвеции, падал в голодный обморок. Путешествуя, Иффэ переносили свою сказку с собой. И она до конца жизни не могла ответить на вопрос, благодарить ли ей родителей за это или нет.

Она помнила, как изменили свою суть слова. И дело не во взрослении, конечно. Дело во времени. Оно стало другим. Когда Марте исполнилось четырнадцать, слова «семья», «справедливость», «истина» поменяли значение. Изменился смысл слов «честь», «долг». И одно слово стало самым главным. «Война». Это она помнила очень хорошо. Тогда закончилась сказка.

Умирающая Австрия реквизировала у Иффэ почти все, а *rara* ушел на войну. Он был военным, это дань традициям, все мужчины в семье Иффэ были военными. Он был и будет последним. *Rara* уехал на войну, когда ей было пятнадцать, до этого он работал в штабе Вены, Марта осталась одна. Уезжая, он поцеловал ей руку, сказал, что она уже большая девочка и что он доверяет ей. Эти слова о доверии – последнее, что она от него услышала. Больше они не виделись. В ее семнадцать он был в Капоретто. Генерал Иффэ умер где-то на северном берегу реки Пьяве. Марта не знала тогда, как это произошло, а после ей было тяжело об этом вспоминать. С семнадцати лет ей говорили, что *rara* умер героем.

В ее восемнадцать рухнула корона, и она одна переехала в Германию. Почему она так поступила? На это не так просто ответить, как кажется. Марта была уверена, что во вселенной есть две силы: созидания и разрушения. Она познала истинный характер их взаимодействия позднее, но тогда она была юна, и все, что у нее было, – стремление к созиданию. Ей казалось, что каждый человек в этом мире – проводник одной из этих сил: созидательной или разрушительной. И он стремится к своей силе. Марта стремилась к созиданию. Как и многим тогда, ей было ясно, что рейхсрат канет в Лету вместе с короной Святого Стефана. Но она знала, что, несмотря на все, Германия выдержит. Тогда она еще не могла предвидеть, что Германия умрет позже и от гораздо более страшного врага, чем война. Имя этому врагу – человеческое заблуждение. Оно сожжет Германию в печах Брайтенау.

Ее Германия не была насыщенной, но была живой. Это был первый и последний период в ее жизни, когда она скрывала свою фамилию. Марта нашла работу, благодаря которой могла не только прокормить себя, но и снимать жилье в центре Берлина. Это был ее первый рабочий опыт, и за следующие восемь лет она сделала, наверное, самую успешную карьеру в послевоенном Берлине. Она не любила описывать свои отношения с мужчинами в то время, несмотря на брак, они не представляли никакой интеллектуальной или эмоциональной ценности, и она знала это. Гораздо больше для нее значила музыка. Впервые Марта услышала Симфонию № 9 Бетховена неприлично поздно, в двадцать три года. Но она никогда никого за это не винила. Марта была уверена, только в это время можно было понять такую музыку. Никогда до и никогда после она не звучала так актуально. Тогда, в 23-м, она почти знала, что «Оду к радости» возьмут своим гимном европейские сообщества. Она знала, что ее будут слушать в Рейхе. И очень хорошо понимала Бетховена. Кто еще мог музыкой показать становление и падение идеи? Она бы не смогла понять этого, если бы не начинала свое детство со Скарлатти и Верди.

Говорят, что каждая судьба человека – это набор случайностей, неопределяемый, индетерминантный вероятностный выбор. Марта знала, что это не так. И в снегу Рождества над Альпами, если очень хорошо присмотреться, можно увидеть фиолетовый песок закатного

Эрматра. Случайностей не существует. Как будут говорить позднее, «если вы видите случайность – проверьте свои исходные положения». Это всегда значит, что вы заблуждаетесь.

1905

Капитан 1-го ранга Акияма Хиконодзё смотрел в подзорную трубу на относительно спокойное море. «Четыре балла, – пронеслось у него в голове. – Ветер есть, но не сильный, расчет снаряда обыкновенный, Санэюки справится». Крейсер «Такасаго» покачивался на волнах, машины были на нуле. Капитан видел в подзорную трубу подходящую эскадру русского флота. Клубы дыма из труб закрывали солнце, свет от которого отражался в металле кораблей. «Полтава» и «Севастополь» под командованием контр-адмирала Витгефта шли на полных парах зюйд-зюйд-вест. Взгляд капитана Хиконодзё был сосредоточен и устремлен к линии горизонта. Обшлага рукавов его кителя слегка подергивались на морском ветру. Золоченая подзорная труба с иероглифом его фамилии и короткая стрижка – две детали, которые, казалось, приносили какую-то искусственность в его образ. Если бы не они, вполне можно было подумать, что на палубе «Такасаго» стоит самурай, готовый броситься в бой при первой возможности. Его лицо ничего не выражало: ни страха, ни отчаянья, ни гнева. Таким Фраппант увидел его в первый раз и таким запомнил на всю жизнь.

– Четыре, – он сложил трубу и засунул ее в чехол на портупее, достал бинокль, – четыре поколения нужно, чтобы выковать героя. Так гласит легенда. Это ведь ответ на ваш вопрос?

– Да. Но вы ведь знаете, что это полная чушь? – ответил Фраппант.

– Конечно. Каждый человек может стать героем уже по факту своего рождения. Кто вы и что вы тут делаете?

Фраппант не хотел говорить, как он попал на «Такасаго». Лодка Джевецкого, с математической точностью подогнанная к японскому флоту, была пришвартована к корме японского крейсера ниже ватерлинии. Фраппант поднялся на борт корабля, зная, где будут матросы. Для Хикондзё это должно пока оставаться тайной.

– Это неважно и никогда важно не было. Капитан Хиконодзё, через три минуты они начнут стрелять. Ваш крейсер прямо на линии атаки. Вы первый примете удар.

– Через две. – Капитан не отрываясь смотрел в бинокль. – Вы не шпион.

– Уже через две. Нет, капитан, я не шпион.

– Тогда какого дьявола вам надо на моем корабле? – Он впервые посмотрел на Фраппанта.

– Вы, капитан, вы мне нужны. Есть линия, которая должна быть прочерчена дальше, и, математически выверенная, она пересекается на вас. Все это очень долго объяснять, и у меня нет желания и, – он взглянул на часы, – времени, но мне нужно, чтобы вы ушли с линии атаки броненосца «Цесаревич», которую он займет через полторы минуты.

– Знаете, в чем ваша ошибка?

– Я не ошибаюсь, капитан.

– В том, что вы думаете, что на войну идут милитаристы. – Фраппант с сожалением понял, что он обращается не конкретно к нему, а к кому-то другому, к кому-то из своего прошлого. – На войну идут как раз те, кто хочет войны меньше всего. Я не хочу переживать ее всю и закончить с ней хочу как можно быстрее. Именно поэтому я не сменяю позицию.

Подошедшему старпому, который не обратил внимания на Фраппанта, потому что не видел его или сделал вид, что не видел, он что-то сказал на ухо, а сам опять начал смотреть в бинокль.

– Если я, как вы хотите, введу хоть один узел, я открою «Асахи» капитана Анами для атаки «Севастополя». У него слабая броня, он не переживет двух торпед.

– Одну он и так получит от крейсера «Диана», капитан!

– Вторую он получить не должен.

– Капитан, «Цесаревич» откроет огонь крупным калибром.

– Конечно, я бы тоже так поступил на месте капитана.

– Вас потопят.

Хиконодзё ничего не ответил. Он смотрел на линию горизонта.

– Акияма-сан, вам следует приказать включить машины и увести корабль с линии огня, – сказал Фраппант по-японски.

– Я не пойду. Синара.

Фраппант смотрел, как медленно, неповоротливо, как русский медведь, «Цесаревич» поворачивается, занимая удобную для обстрела позицию. Солнце играло на его обшивке и трубах.

– Вы когда-нибудь понимали смысл войны? – спросил Фраппант у Хиконодзё, думая, что, возможно, ошибся. Надо было проверить капитана.

– Нет. Но я лучше других, потому что знаю это. Другие не знают. Все, к чему я пришел, это то, что война *Non sequitur*.

– Блестяще! Вы нужны мне, капитан.

– Нет. – Японец оглянулся на корабль. – Посмотрите на мой экипаж. Это слепые котята. Посмотрите туда вдаль, – он показал на корабли, – там тоже всего лишь люди. Если меня не станет, они начнут представлять опасность для себя и друг друга. Я здесь, чтобы минимизировать потери...

Он не договорил, потому что снаряд взорвался у кормы корабля. Весь крейсер затрясло. Капитан резко и по-японски отдавал приказы, но сам не уходил с палубы на мостик или в рубку. Все это время Фраппант стоял незамеченный рядом с ним. Он должен был видеть бой.

– Капитан, у вас осталась последняя возможность спасти себя и свой корабль: полный назад и заградительный огонь. Это даст вам время.

– В таком случае каковы потери японского флота?

– Четыре машины.

– Потери русского флота?

– Двенадцать кораблей.

– Именно поэтому я останусь здесь.

Внезапно время как будто замедлилось, Фраппант видел, как мимо летит снаряд. Он даже крутился настолько медленно, что Фраппант прочитал на стабилизаторе «Санктъ-Петербургское оруж. товарищество». Солнце висело в зените на безоблачном небе, вокруг клубился пар от двигателей японских и русских кораблей. Акияма Хиконодзё смотрел в бинокль на линию горизонта, над которым высились русские корабли. Фраппант резко ощутил запах морской воды вокруг, смешанный с запахом пороха. И его охватило ощущение, что все это он уже когда-то пережил, когда-то очень давно, так же человек смотрел и видел, как бесконечная энергия энтропии разрушает великий порядок, который он частично или полностью создал, который он высчитывал, но ничего не делал, чтобы сохранить его. Этот человек был поглощен деятельностью, чья созидательная природа переживет разрушение, возродится, подобно фениксу. Он мог остановить это все, но не стал. И Фраппант видел капитана Хиконодзё, человека, который мог разрешить кризис разрушения, вывести линию в верном направлении. Но тот стоял и смотрел в свой бинокль. Фраппант не мог сказать ему, что капитан единственный, кто способен спасти двести тысяч испепеленных в одно мгновение душ, он не имел на это полномочий. Но почему-то ему казалось, что Хиконодзё знал о своей значимости. Конечно, это не могло быть так. Казалось, все это длилось всего одно мгновение, растянувшееся на долгое-долгое время. Это было ощущение вторичности происходящего.

– Дежавю... – сказал Фраппант.

– Мне не нравится это французское слово. Оно, как и все французское, неполное по своей сути. Мы, японцы, называем это *сатори*. Огонь! – крикнул он по-японски, и снаряды

из всех орудий посыпались на русскую эскадру. Запах пороха стал нестерпимым. Потом еще раз: «Огонь торпедами!» – и торпеды ушли в сторону «Севастополя» и «Цесаревича».

– Послушайте, я не знаю, кто вы, но хочу сказать вам спасибо. Все это значит, что еще не все потеряно. – Он вытянул руки по швам и поклонился Фраппанту.

Фраппант поклонился ему в ответ, это был поклон признательности одному из величайших гениев Страны восходящего солнца.

Фраппант резко зашагал в сторону кормы. На него никто не обращал внимания, матросы неслись под картечными снарядами и брызгами волн как сумасшедшие. Точно зная когда, Фраппант спустился по тросу в лодку и уплыл от «Такасаго». Он не видел, как третий снаряд с «Цесаревича» упал на палубу и превратил ее в щепки. Когда Хиконодзё, достав винтовку, через целик, похожий на символ стронция Дальтона, смотрел в наводчика подхваченного катера «Алеша», его уже не было поблизости. Последний момент своей жизни Акияма видел сквозь прицел винтовки «Арисака». В тот момент, когда снаряд входил в палубу «Такасаго», перед глазами Фраппанта выросли грибы атомных взрывов – самое мерзкое и отвратительное из всего, что было создано человеком. Двести тысяч пар глаз смотрели на него с безмолвным вопросом. Все, о чем он думал тогда, были последние слова Хиконодзё: «Все это значит, что еще не все потеряно». Фраппант спрашивал себя, прав ли Хиконодзё.

1906/1917

– На 17-й... С упреждением полсекунды... Пли! – прозвучал суровый голос артиллериста, и снаряд с приданной огневой мощью пролетел в направлении вражеских диспозиций.

– Бух! – Разнес он какую-то сельскохозяйственную постройку...

– Заряд на 24-ю... без упреждения... дробью... Пли! – произнес тот же голос, и металлический дождь понесся сеять смерть.

– Бу-бух! – Где-то совсем рядом взорвалась австрийская граната.

Легким аккомпанементом вступили музыканты с винтовками – второй взвод пошел в огневую атаку в метрах восьмистах от Зеркалова.

– Фью... Фью... – Уже совсем над ухом Зеркалова проносились пули.

– Это еще хорошо, у них что-то пулеметы молчат. Перебросили... – заметил ассистент и почему-то усмехнулся.

– Зажим! – приказал Зеркалов, игнорируя последнюю реплику.

Ассистент Котоев достал из зеленой сумки с красным крестом зажим и вложил в протянутую руку врача.

– Убирай кровь, пока я буду зашивать. У офицера венозный катарсис. Работать надо быстро, если хотим, чтобы он не умер. Возможен сепсис, позови сестру.

– Это, Вадим Михалыч, мож, до обоза? Тут перестрелка, а мы тут с вами катарсис лечить будем...

– Выполнять, Котоев.

– Есть, – с неохотой ответил ассистент и, позвав сестру, принялся убирать кровь.

Пока шла эта операция, бойцы второго взвода, теснимые силами противника, отступали, все приближая противника к сестре, Котоеву и Зеркалову. Кавалерийская атака с фланга, предпринятая ротмистром Есауловым, провалилась, захлебнувшись во встречной контратаке немецкой пехоты, во много раз превышающей численность русской кавалерии. Зеркалов слышал ржание лошадей, оно было громче, чем разрывы артиллерийских снарядов. Еще держался правый фланг, обеспеченный поддержкой артиллерии, почти в полном составе переведенной в режим ближнего боя. Это не давало войскам противника прорвать полосу первой заставы и приблизиться к штабу, который уже давно эвакуировали, но об этом знало только высшее командование участка и несколько фельдфебелей по особым поручениям.

Зеленое небо Галиции, кое-где затянутое свинцовыми тучами, начало темнеть, но солдаты обеих армий не замечали этого. Редко залетающая в эти места в последнее время птица как ошалелая металась между снарядами. Деревенские дома стояли совершенно пустые. Сформированные Оппелем медобозы изредка увозили раненых в тыл, и еще реже они возвращались. Госпиталь стоял в 35 километрах к востоку, за окопами, и основная забота полковых врачей состояла в том, чтобы обеспечить раненым выживание, пока их будут перевозить до госпиталя. Оказывать медицинскую помощь тем, кто до госпиталя не дотянет, было категорически запрещено. К счастью для солдат, четко не оговаривалось, кого считать «бесполезным», и это оставалось на совести врачей, которые помогали всем, кому возможно. Для критических случаев существовали сестры милосердия, подготавливавшие солдат в последний путь.

– Третий взвод, огонь! – прозвучал где-то в километре сдавленный голос пехотного командира; на всем участке обороны оставалось с натяжкой взвода четыре, многие из них уже отступали. Третий под предводительством штабс-капитана Рохлина шел на подмогу левофланговой кавалерии, полностью уже потерявшейся в австрийских штыках.

– За царя! За Родину! За веру! – кричали солдаты, спеша в бой по приказу Рохлина. Первый ряд сразу был срезан вражескими пулями.

Зеркалов с Котоевым и сестрой милосердия заканчивали операцию, так неожиданно предпринятую полковым врачом.

– Забирай, готов к транспортировке!

Солдаты с носилками подбежали к раненому офицеру, погрузили его на матерчатые, наспех сделанные носилки и повезли как можно дальше от линии фронта, стараясь избегать рвавшихся в нескольких метрах от них снарядов. Арьергард отступал.

...

Лето 1906 года выдалось на удивление суетливым. Еще бы, в семье Зеркаловых, потомственных дворян, царило смятение. Наследник рода Вадим Зеркалов только что с отличием окончил реальную гимназию и готовился к поступлению в университет. Еще давно было решено, что молодой человек пойдет по врачебной части, но вот беда: в стране целых два учебных заведения готовили профессиональных врачей. То есть их, конечно, было не два, был еще Дерптский университет, была Харьковская академия, но только в двух местах студент мог получить лучшее медицинское образование в России: в Императорской медико-хирургической академии и в Московском университете. Разница между ними была принципиальная: от выбора зависела карьера студента. Пойдя в Медико-хирургическую академию, он мог претендовать на великолепное хирургическое образование и не беспокоиться за свою будущую жизнь. С большей вероятностью он будет врачом в distinguished, непобедимой и благородной армии империи. Если же молодой человек выберет ломоносовское гнездо, то карьера земского, а то и губернского врача ему обеспечена. Более того, может статься, что студент переедет в Петербург, будет замечен, а там и до лейб-медика недалеко, и несмотря на то что в Петербурге находилась Военно-медицинская академия, лейб-медиков оттуда не брали, все русские лейб-медики пошли из Москвы, о чем не без гордости сообщала табличка на дверях медицинского факультета Московского университета.

Примерно такого рода рассуждения занимали молодого Вадима Зеркалова, пока он ехал домой. Но все его мысли разом испарились, когда он увидел отеческий дом, где провел свое детство. Целый год он не был дома и возвращался уже гимназистом первого класса, закончившим с отличием Московскую гимназию Гирье. На крыльце уже стоял старый Гаврилыч, готовый вновь прислуживать молодому барину. Родители Вадима, Катерина Осиповна и Михаил Алексеевич, ждали дорогого гостя к столу. Следует сказать, что в доме его ждала еще и сестра, Мария Михайловна, совсем молодая девушка, которая с нетерпением готовилась к рассказам брата про Москву и, как выражался Михаил Алексеевич, ее «нехорошие излишества». В общем, гость Вадька был желанный и из Москвы в Курскую губернию добирался аж шесть дней, несмотря на хорошую погоду и приятную дорогу. Что задержало Вадима Михайловича на пути, оставалось загадкой, кучер обмолвился, что видел барина с «каким-то человеком в немецком костюме светлого цвета», но Вадим посмотрел на него, и больше об этом говорено не было. Он приехал и уже, облобызавшись с домашними, сел к столу.

– Вадька, какой же ты стал большой! – заметила Катерина Осиповна, статная женщина, лет сорока от роду, с благородным воспитанием и со всеми атрибутами петербургской «институтки», много лет прожившей в провинции. Одна из тех барышень, которые, потеряв столичный блеск, никогда не потеряют столичную гордость. – Теперь, что сказать, врачом будешь?

– Да, маменька, видимо, врачом, как и собирались. Давно известно было, что врачом. Так что, следует заметить, я ненадолго. Так, повидаться по-родственному, и опять на экзамены. Необходимо продолжать обучение, ибо, как сказано, «ученье – свет, а...»

«...неученье – тьма», – продолжил отец. – Врачом, это ты, сын, хорошо придумал. Говорил я вам, что врачом будет? – спрашивал Михаил Алексеевич у домашних. – Еще когда маленький был, травинки тут всякие собирал, кошек лечил, ясно было, что по медицинской части пойдет. А в арифметике всегда же первый был! Естественник, научник, никак иначе! Только вот куда теперь стопы свои ученые направишь, Вадим? – как бы невзначай задал Михаил Алексеевич свой вопрос.

Вопрос, куда их сын пойдет учиться, волновал чету Зеркаловых не меньше самого Вадима. И хотя много споров вышло у них меж собой, а также и с соседями, но все-таки они постановили отправить его в Москву, непременно в Москву. Поскольку видеть своего сына военным Михаил Алексеевич, сам отставной полковник, не желал. Но, безусловно, последнее слово оставалось за Вадимом.

– Это вопрос непростой, подумать надо, – сконфузившись, проговорил Вадим. – Но что это мы все об учебе да об учебе, будет еще время, до экзаменов много чего можно решить. Вы расскажите, как у вас тут все? Много чего за год изменилось? Может, чего утаиваете от меня? – с улыбкой закончил он, надеясь, что ему удалось-таки перевести тему разговора.

– Вадька, а расскажи про Москву что-нибудь, – робко попросила его сестра.

– Про Москву? А можно и про Москву, – задорно заметил Вадим. – Ну так слушайте, в Москве – слышали, наверное, – была забастовка. Дело как было: иду я с гимназии, а тут... – вот примерно в таком роде Вадим повел свой рассказ про московское бытие, а семья слушала, ловя каждое слово.

...

Австрийские войска теснили отступавших русских пехотинцев. Отступлением командовал Рохлин. По всем направлениям было приказано оставлять раненых на милость завоевателей. Все медицинские обозы были перегруппированы для сохранения легкой техники. Все, что увезти было нельзя, уничтожалось по приказу командования, несмотря на удивление со стороны солдат и офицеров.

– Вадим Михалыч, отступаем? Так и оставим раненых? – спрашивал Котоев у идущего рядом Зеркалова.

– Пока да, если кто будет звать врача, сообщи мне. Всех не спасем, но некоторые, способные передвигаться самостоятельно, которым нужна лишь легкая помощь, будут ждать ее, и я сделаю все возможное... Все возможное.

– Ну, тогда посмотрите вон там, слева, офицер-артиллерист ползет, похоже, легкая воздушная контузия, – указал Котоев на офицера, действительно ползшего и, видимо, не понимавшего некоторое время, что происходит. – Предлагаю оказать помощь.

– Молодец, Котоев, доведи до обоза и прикажи транспортировать в госпиталь штаба. Скажешь, что я приказал, перечить не станут и предоставят транспорт. Дай боже, госпиталь уже эвакуирован и обстрелу не подвергался.

Котоев взял офицера под руки и, громко крича, сообщил ему, что он сейчас препроводится в госпиталь, а потом получит отпуск по ранению. Офицер что-то пытался возразить, но первый шок еще не прошел, и, опершись на врачебного ассистента, они вдвоем зашагали к обозу.

Артиллерия врага не смолкала. Эта была «техническая» война. В отличие от войн предыдущего века, да и японской, людей не считали. До солдат доносились слухи о Вердене и Ипре.

Зеркалов шагал позади обозов, стараясь помогать каждому, кого увидит и кому мог помочь. Он довольно долго уже не спал и не ел. Но его цель была поставлена четко: дойти до госпиталя, а там спрятаться в окопах, которые австрийцы сегодня точно штурмовать не станут. Он уже был дважды георгиевский кавалер, и у сослуживцев сложилось впечатление, что он просто не знает, что такое страх. Бывало, еще в самом начале войны, он вместе с солдатами шел в первых рядах, пока война не приняла этот странный окопный характер, и тащил раненых на себе назад. Однажды он спас какого-то полковника и был за это пожалован отпуском домой, но домой не поехал: у него в полковой хирургической лежал больной, которому он пообещал, что тот выздоровеет, и Зеркалов свое обещание сдержал. Потом перебросили на юг, и тут началась нынешняя врачебная практика. Раз за разом он ходил на крупные операции на поле боя и раз за разом возвращался. Иногда на него было страшно смотреть, после некоторых таких «операций» он приходил весь в крови, сам зачастую раненый, но никогда еще серьезно. Возможно, это вселяло в него уверенность, что так будет и дальше, что ни пули, ни гранаты на этой войне никогда не убьют его и, может, даже не свалят с ног. Хирург он был талантливый, рука твердая, действия выверены до автоматизма, про таких говорят «хирург от бога», и если раненый, самый безнадежный, кому, вероятно, во всей Галиции не смог бы никто помочь, попадал к Зеркалову, то он выживал.

Нынешняя операция ничем не отличалась от остальных, но уж что-то очень она затянулась. Австрийцы долго не могли выбить русских с Мавошенской высоты, а когда выбили, то направили на них такую военную мощь, что, кажется, такое долгое отступление с боем было чудом со стороны русской армии. До окопов оставалось меньше километра, когда вдруг что-то прожужжало у уха Зеркалова и взорвалось совсем рядом. Ноги подкосились, и все тело перестало слушаться. Через мгновение стало очень больно, больно до шока, до слез. Зеркалов всеми силами старался не потерять сознание и из последних сил крикнул: «Врача! Осколочное ранен...», – далее он ничего не смог сделать и отключился. И тьма накрыла горизонт.

...

– Ну, куда решил, Вадим? – уже серьезно спросил у сына Михаил Алексеевич на третий день его пребывания в имении.

– В Петербург, папенька, я поступать буду и учиться в Военной академии, – твердо сказал Вадим, ожидая любых возражений со стороны отца.

– Неужто в Петербург? Так ляжку тянуть охота? Это ты, брат, глупости затеял. В Москву поедешь, на медика выучишься и там, в Москве, и останешься, а нет, так я тебя самым главным врачом у нас устрою. Губернатор лечиться будет, состояние сколотишь, и я спокоен.

– Нет, папенька, я твердо решил, в Петербург. Еще вчера сомневался, а сегодня сон увидел, как наяву: будто бы война идет, а я нужен солдатам и, знаешь, бегаю, снаряды рвутся, а я помогаю... И так меня это задело, что решил: в Военную академию пойду – образование там недурное, еще вопрос, где лучше-то – и потом врачом в армии буду. И я, как ни отговаривай, решения своего не переменю, – закончил Вадим. Видно было, что сам он очень нервничал, говорить, правда, старался спокойно и размеренно, не сбиваясь.

– Да ты в своем ли уме? В армию он пойдет! А коли война? Коли опять с японцами воевать придется?! Или не знаешь, как сейчас наша армия воюет? Я рассказывал тебе, как в Севастополе на себе Меншикова тащил?! Чтoб тебя на мясо пустили? Не позволю, и точка.

– Папенька, при всем моем уважении к вам, я решил, и буду врачом полковым, будь то война или мир. Кто вены шить будет? Сами говорили, армия сейчас какова, так вот и

исправлять надо. Один человек еще знаете что сделать может! Один в поле – воин. Я не идеалист, и только я знаю, что могу. И винтовку держать могу, и корпий наложить смогу.

– Строем шагать?

– И строем шагать тоже. Не горячитесь, папенька. Я решил. А японской войны не будет более, отвоевались, как бы пострашнее чего не было, – совсем тихо закончил Вадим.

– Воля твоя, сын. В Москве ты будешь человеком большим, ты таких дел сможешь устроить, премию получать будешь сотнями, полный пенсион, врач столичный! А так в чине унтерском отправят в сибирские губернии, и будешь солдат от плоскостопия лечить...

– Очень боюсь, что не буду.

– Как знаешь, Вадим, как знаешь... Только жесткий ты человек какой-то. Ты решений своих не меняешь и как сказал, так и сделаешь, – заметил погодя Михаил Алексеевич.

– Может, что и жесткий. Только знаете что? Я, пожалуй, последний из жестких-то людей и есть.

– Не последний, – твердо сказал отец.

– Может быть.

– Ладно, делай как знаешь, – сказал Михаил Алексеевич, – а сегодня еще свидимся, вот хотя бы и за ужином. Там и объявишь свое решение.

– Спасибо, папенька, сегодня за ужином и объявлю...

...

Очнулся Зеркалов на носилках. Была почти ночь. Нестерпимо болело в боку, и левая рука не слушалась. Зеркалов попытался определить, куда его несут. «Так, Полярная справа, слава богу, на восток...»

– Солдат, – окликнул он несущего. – Сколько времени?

– Не знаю, время уже позднее, – последовал ответ.

– Почему не слышно артиллерии? Мы за окопами или австрийцы прекратили огонь? – вдруг зачем-то поинтересовался Зеркалов.

– Да зачем ж артиллерия, ваше благородие, ночь ведь, – не спеша и как-то нараспев сказал солдат, несший Зеркалова сзади.

– А да, точно... ночь, – и сам сообразил врач, даже удивившись, как это он не понял раньше.

Он попытался определить, что у него ранено и до какой степени. «Рука, видимо, сломана, лучевая, открытая... – рассуждал он про себя. – Что же в боку? Печень? Нет, печень по-другому болит, да и очаг локализован, скорее, ранение в двенадцатиперстную. Зашивать необходимо». Он взглянул на бок. Он был аккуратно перевязан женской рукой – сестрой милосердия, подумал Вадим.

– Сколько до госпиталя? – спросил врач, понимая, что госпиталь был, вероятно, уже близко, так как в округе не видно трупов, а сам он, как понял, находился за окопами.

– До госпиталя километра три еще, но что вам госпиталь? Его эвакуировали, а вас несем в хирургическую за второй заставой.

Зеркалов решил, что там, по крайней мере, будет находиться Котоев, который если не был эвакуирован в числе госпитального персонала, то непременно остался в хирургической, так как помимо него самого наверняка после этой операции были раненые, которым была нужна безотлагательная помощь. Котоев, видимо, мог и ожидать его в госпитале, но так как Зеркалов там не появился, то должен был понять, что врач ранен, и уже послал за ним людей.

Когда Зеркалова принесли в хирургическую, было уже за полночь. Хирургическая второй заставы представляла собой бывшую купеческую галицийскую избу, в которой в свете керогаза врачи проводили операции раненым. Зеркалова там узнали сразу. Опытные врачи

сразу сообразили, что необходима срочная операция. Вот и все, что запомнил врач, опять впавший в небытие.

Зеркалов очнулся на следующий день, было светло и около часа пополудни. Голова жутко болела от эфира. Он спросил у сестры про ассистента Котоева.

– А, Котоев, врач. Он, может, на операции сейчас.

– Так позовите врача Котоева, как освободится.

– Хорошо.

Зеркалову принесли попить, и пока он пил, пришел Котоев.

– Вадим Михалыч, боюсь, дело серьезное, кишечник вам зашили, за него не беспокойтесь, но с рукой... С ней дела плохи. Она у вас в трех местах сломана, в двух перелом зарастет и будет культя уродливая, но внешняя кость остеовой коррекции не поддается. Не проведем ампутацию – риск сепсиса 50–60 процентов. Прогноз неблагоприятный, так что, при всем моем уважении, нужна ампутация, – со всей серьезностью проговорил бывший ассистент.

– Котоев, а ты когда врачом стал? – без улыбки спросил Зеркалов.

– Вадим Михалыч, хватит шутить, нужна операция, но без вашего согласия мы ее проводить не смеем.

– А все-таки, то ассистентом был – помнишь, под Сандамиром вены шить боялся, руки тряслись, как у пьяницы, – а тут вот уже, доктор Котоев! Слушай, да ты на войне карьеру сделаешь.

– Приказ еще не поступил, но здесь не хватает рабочих рук, а у меня опыта достаточно, главврач госпиталя сказал. Вадим Михалыч, руку ампутировать? – Котоев нервничал. Сейчас перед ним лежал его учитель и ждал операции, но вместе с тем он не мог не заметить, что ему было приятно ощущение собственной гордости за то, что он теперь врач, а не просто ассистент.

– Я боюсь, что да. Сам чувствую, что не могу рукой пошевелить. Ампутируй кисть, не больше.

– Да как же? А операции ваши? – все-таки спросил бывший ассистент, он до последнего верил, что, может, и обойдется без операции, что Вадим что-нибудь придумает.

– Ну вот! Какой же ты врач, я же сказал тебе, про операции забудь, видимо, я отоперировался. Ты теперь сам врач, сам операции и проводи. Ампутация сейчас действительно необходима.

– Вы жесткий человек, Вадим Михайлович, очень к себе жесткий, – сказал Котоев, когда Зеркалова уже несли в операционную.

– Может, и жесткий, – сказал Зеркалов, засыпая в эфире.

...

Зеркалов уехал поздно вечером, когда уже стемнело. Расставания с семьей не были долгими, все уже были готовы к тому, что Вадим уедет, он сам их готовил к этому с самого своего приезда. Во время ужина Михаил Алексеевич приказал закладывать лошадей. Когда подали чай, лошади были уже готовы. После Зеркалов попрощался с семейством, со слугами и дворовыми. Он пробыл в поместье около месяца, вспомнив детство, отдохнув и набравшись сил. Поездка в Петербург, где ему надлежало учиться, предстояла долгая. Но все вопросы были уже решены.

– До свиданья, родные, как поступлю, напишу! – крикнул Вадим уже с брички.

Впереди его ожидало новое, к чему стремится каждый человек, его будущее, закрытый туманом горизонт, который очень скоро, через десять с лишним лет он будет вспоминать, забываясь в эфире.

1908

В старое обветшалое здание Цюрихской публичной библиотеки вошел человек средних лет в сером пальто, засаленные обшлага которого позволяли судить о непритязательном вкусе и небольшом достатке его обладателя, правда, он был в чистой сорочке и в начищенных, но не до блеска, осенних туфлях. В его голубых глазах светился едва заметный огонек, который неизменно замечали все, кто с ним сталкивался в жизни. Светлые кудрявые волосы вились из-под картуза европейского покроя. Он уверенно прошел в гардероб, разделся и направился в галерею, обставленную со всей гельвецийской точностью, именно так и должна выглядеть публичная библиотека. Посетитель направился к стойке.

– Und, Herr Iljin, – с воодушевлением заметил библиотекарь-администратор. – Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Sie hatten wohl viel zu tun, nicht wahr? Ja, ich verstehe, ein beschäftigter Mensch hat keine freie Zeit...

Библиотекарь был типичный бюргер, гельвециец до мозга гостей, всегда обходительный, всегда любезный, но никогда ничем всерьез не интересовавшийся, как и почти все гельвецийцы. Посетитель не имел особого желания говорить, однако ему необходимо было соблюсти все правила европейского приличия, поскольку ему здесь жить и работать.

– Ja, wissen Sie, ich habe für einige Zeit wegfahren müssen, wie Sie schon bemerkt haben, dienstlich... – на прекрасном немецком ответил иностранец.

– Hoffentlich nicht nach Russland? – как будто бы даже и испугался гельвециец, хотя ему, конечно, было абсолютно все равно, где был Herr Iljin, хоть на краю света.

– Nein, nein. Mit einer Reise nach Russland muss ich auf einige Zeit noch abwarten. Aber es gibt doch in dieser Welt andere Orte, nicht wahr? Ich habe einige Zeit in München verbracht, dort betrieben meine Freunde ein wichtiges Geschäft, und ich musste einfach Ihnen helfen. Und dann fuhr ich nach... (посетитель произнес название города неразборчиво), musste eine Bank besuchen. Finanzen spielen jetzt... Also, Sie verstehen wohl, welche Rolle jetzt die Finanzen spielen... – Русский собеседник взглянул на стеллаж, стоящий неподалеку. – M-m-m... ich sehe, Sie haben neue Zeitschriften erhalten?

– Die dort? Ah ja, die haben unsere russischen Kunden mitgebracht, Sie dürfen sie durchblättern.

– Durchblättern... Durchblättern... – сначала как будто заинтересовался Herr Iljin. – Ja... Ah nein, danke, ich bin an Ihnen eigentlich aus anderem Anlass vorbeigekommen.

– Was könnte ich für Sie tun? – задал наконец-то библиотекарь тот вопрос, что он говорит по сотне раз в день, и всегда с улыбкой, и всегда безразлично.

– Ich brauche das Werk Jean Batist Sejs «Der Katechismus der politischen Ökonomie». Anscheinend ist so der Titel seines... wenn ich mich nicht täusche, aber so was kommt sehr selten vor...

Библиотекарь-администратор пошел к картотеке. Он немного порылся там и вернулся с несколько разочарованным лицом к русскому посетителю Цюрихской публичной библиотеки:

– Ich fürchte, ich habe Ihre Lesekarte nicht, Herr Iljin. Haben Sie bestimmt keine Literatur auf dem Abonnement?

– Wieso?.. – как бы очнулся русский, он долгое время не спал и иногда впадал в небытие, – machen Sie sich bitte keine Sorgen, alles ist in Ordnung, ich kehre die Ihnen später zurück, bei mir liegen einige Bände von Engels, einige von ihnen habe ich sogar mit, aber ich benötige sie vorläufig. Würden Sie bitte die auf Herrn Uljanow, Wladimir Uljanow notieren. Ich bringe sie zurück, Sie wissen schon, ich gebe alles immer zurück.

– Offen gestanden erlauben unsere Regeln so was kaum, aber unter Berücksichtigung... können wir eine Ausnahme für Sie tun. Wir plädieren doch für Komfort unserer Kunden. Ihren Pass, bitte...

– Ja, sicher, und rechtschönen Dank, – сказал Владимир, протягивая паспорт.

– Gut. Sie müssen einige Zeit warten, nehmen Sie bitte Platz.

Владимир присел в мягкое кресло. Его очень клонило в сон, но он вполне еще мог держаться некоторое время. Пока ждал, он наблюдал за суетящимся гельвецийцем, который был со всеми столь же любезен, как и несколько минут назад с ним.

– Herr Uljanow, haben Sie Sej bestellt? Hier, nehmen Sie. Den Weg in den Lesesaal kennen Sie schon...

Ульянов (Ильин) взял книгу и отправился в читальный зал. Здесь он был уже далеко не в первый раз и знал библиотеку как свои пять пальцев. Он присел за свободный столик, достал тетрадку, придвинул поближе чернильницу и принялся что-то записывать, сопоставляя с принесенным им Рикардо.

«Так, – мыслил Владимир, – производитель, который думал бы, что его потребители состоят не только из тех, которые сами производят, но и из многих других классов... Да-да, очень верная мысль. Что же на этот счет полагает Рикардо, ну-тка, взглянем... ага, вот-вот, именно это и нужно, но почему тогда Маркс полагает об изменении природы продукта для нетрудовых классов? Необходимо принять его мысли как верные, да, как верные, и с их точки зрения критиковать все остальное, хотя в данном случае... Продукт, продукт... На практике еще не было никогда такого примера, чтобы какая-нибудь нация была совершенно лишена продуктов, которые она могла бы производить и потреблять, хотя вроде у Курно похожая мысль была... Нет, там не так, там об обеспечении аппарата, Курно – дурак, у него не так, у него про полезность, как про благо... благо... Производство зависит от полезности, как А от В в пропорции и изменении, в зависимости от показателя Q – рабочей силы... Всего лишь Q – рабочая сила, какой-то коэффициент в формуле благ, да, так и есть... Так и есть...»

Вдруг его мысли прервались.

– Ну вот зачем ты сейчас Курно дураком назвал? – Перед ним стоял молодой человек, собирающийся присаживаться с другой стороны стола. Он был одет в белый костюм, возраст его на вид определить было невозможно. Владимир Ульянов не сводил с него глаз.

– Entschuldigung... То есть вы по-русски говорите... Извините, мы разве знакомы? – непонимающе смотрел Владимир на незнакомца.

– Нет, Влад, пока не знакомы. И давай на «ты». Здесь все равно больше никого нет.

Ульянов оглянулся. Читальный зал библиотеки стоял пустым. Он не понимал почему.

– Кто вы? – спросил он.

– Зови меня герр Фраппант. Или просто – «друг». – Фраппант видел, как невидящий взор Ульянова устремлен вдаль библиотеки. Он крутил головой вправо и влево. Именно таким он будет, чуть постарше, смотреть с комсомольского значка Али. Фраппант должен был это исправить.

– Как же так? – спросил Владимир. – Вы... ты что, привидился мне?

– Тут есть несколько вариантов, Владимир, выбирать тебе. Вариант номер один: я пришел к тебе, некое видение, чтобы что-то объяснить. От чего-то... предостеречь. Вариант второй – самый простой, на мой взгляд, но тут бы я тебе бритвой Оккама пользоваться не советовал, можешь порезаться: ты сошел с ума. Видишь, как просто: один заучившийся до сумасшествия русский революционер говорит в Цюрихской публичной библиотеке сам с собою. И наконец, третий вариант, несколько похожий на второй: за последнюю неделю ты спал в общей сложности не более двух ночей, и у тебя легкое расстройство нервов, вызванное бессонницей и постоянным чтением экономической литературы. Ты ведь любишь думать, вот и решай, почему я здесь.

– Какое-то безумие, какое-то... Что со мной? – Владимир в самом деле решил, что он сошел с ума, он быстро пытался сообразить и проанализировать ситуацию, но разум подсказывал, что анализу и соображению эта ситуация не поддается. Перед ним сидел человек в белом костюме европейского покроя, прекрасно говорящий на русском языке, знающий, кажется, все мысли Владимира, и все это – в пустом зале библиотеки.

– Провокация? – неуверенно спросил Ульянов.

– Какая, к черту, провокация, Володя, очнись!

– Значит, я сошел с ума.

– Ну вот почему я так и думал, что ты сначала все-таки решишь, что свихнулся? Несильно ты от других отличаешься...

– Так, постой, но если я понимаю, что я сошел с ума, значит, я не сошел с ума, правильно?

– Хорошо, – улыбнулся Фраппант, – и что из этого следует?

– Я не знаю, – твердо и уверенно ответил Владимир.

– Не знаешь? – Фраппант с огорчением посмотрел на него. – Это очень плохо, Владимир. Но, – он не оставлял надежды, – что же делать будешь?

– Я не знаю... Я даже не знаю, кто ты и почему я тебя вижу.

– Решать тебе, друг. Я сказал, что я друг тебе, не более.

Они оба замолчали на минуту.

Владимир еще раз обратил внимание, что в библиотеке, в читальном зале, кроме него и незнакомца, никого не было.

– Герр Фраппант, если так вас звать, а где все?

– А ты успокоился и готов к конструктивному диалогу?

– Я думаю, что я еще не все понимаю, но что я точно могу, так это говорить с вами... с тобой, надеюсь, что не с самим собой, – усмехнулся Ульянов. – Так что давай поговорим. Скажи, ты знаешь, где все?

– Я знаю, – признался Фраппант.

– Отлично, – прыснул Володя. Он пытался подавить смех, но безуспешно, и расхохотался. Он смеялся нервно, почти надрывно.

– Что смешного?

– Я никогда бы, нет... никогда не мог подумать, что сойду... сойду с ума...

– Знаешь, Владимир, по-моему, это не так смешно, – серьезно и тихо сказал Фраппант.

– Да что ты, посмейся, ты чего такой угрюмый... Герр Фраппант. Ты ведь немец, да? Фраппант – значит, удивительный, нет? Пришел и, угрюмый, сидишь тут. Вам, немцам, что, веселиться нельзя? Можно? Меня с ума свел... Кстати, сколько у нас с тобой времени?

– Ну, я могу сказать ответ, но тебе он не понравится.

– Сколько, мне уже все равно.

– У меня бесконечность... В твоём исчислении все это уже было и будет, каждая секунда... А у тебя – от тебя зависит.

– Да, – Ульянов опять рассмеялся. – Ха, если ты игра моего воображения или воспаленного сознания, а, скорее всего, так и есть, то что-то у моего воображения не очень хорошо с юмором и фантазией. Ничего и сказать не может.

– Володь, а если нет?

– А если да? Ты докажи, что я не сошел с ума, тогда тебе поверю.

– А ты докажи, что сошел.

– А чего тут доказывать, я вижу какой-то бред... и говорю с ним.

– Ты материалист, – быстро и на выдохе парировал Фраппант.

– Мы о чем говорить будем? – через некоторое время спросил Владимир.

– Расскажи о себе, какая твоя цель?

– С чего ты решил, что у меня вообще есть цель?

Фраппант ничего не ответил, только как-то странно посмотрел на Владимира.

– Хорошо. Зачем мне тебе рассказывать? Из любого варианта, которыми ты объясняешь свое присутствие здесь, следует, что ты знаешь обо мне все. Так что обо мне нечего и говорить.

– О тебе как раз и есть что говорить.

– Ну есть у меня задумка одна... – произнес Ульянов.

– Да знаю я твою задумку.

– Мало того что ты все знаешь обо мне, ты еще меня и перебиваешь.

– А ты – «задумка»! Это целое... «Задумище»! Эх, да если бы ты хоть где написал, что у тебя есть «задумка», разве б за тобой люди пошли? Скажи, что не задумка. Скажи, зачем все?

– Я пытаюсь сделать то, что не смог мой брат. Исправить его ошибки, сделать его работу.

– Брат? Брат Александр? Володь... – Фраппант откинулся на спинку стула. – И это я слышу от материалиста, от социалиста, от революционера. Да как же, если «...суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела...». Узнаешь? – спросил спокойно Фраппант, он неожиданно для Владимира начал говорить голосом металлическим, медленно, четко, – узнаешь свою библию, написанную убийцей? Скажи мне, Володь, как отказаться от любви и благодарности, если на свете ничего нет лучше, чем любовь и благодарность? Да что это за страсть такая холодная революционного дела, страсть всепоглощающая, душащая в человеке все святое, все, ради чего он живет, ради чего рожден был на этой земле? Для чего, Володя, для чего надо падать, а потом вставать и убивать, убивать, убивать, для чего надо забыть себя, чтобы отдать свой разум и тело на дело революционной борьбы, смысл которой не понимает и тысячная, миллионная часть человечества, а душу отдать на растерзание, причем не кому-то, а самому себе! Посмотри на себя, друг, ты почти что живой мертвец, ты сам себя довел до этого! И ты, революционер, ты можешь мне объяснить – для чего? Нет. И это ответ, который так же очевиден, как и то, что то, что ты затеял, – самое грязное из дел, как и политика, придуманная для освобожденного от всех условностей убийства. Я все это уже видел, Влад. Да для чего, в конце концов, люди отдают себя на растерзание делу, которое в основе своей имеет разрушение?! Ради идеи, свободы, счастья? Может быть, равенства?! Да нет этого всего, и ты сам это знаешь, Влад, тебе же очевидно! Как знаешь ты и то, что дело, которому ты служишь, – дело разрушения. Надо научиться прощать, Володя, за брата прощать, за все. Силы посвятить созиданию, другому делу, друг, я знаю, ты гений, ты сможешь такое, если поступишь правильно, на что другие и решиться не могут! Что, если ты не прав? – Пока Фраппант это говорил, он несколько раз вставал и садился, он нервничал, но все это было настолько странно и необычно, что Владимир слушал его очень внимательно и не обращал внимания на его жесты, до него доносилось содержание слов незнакомца.

– Я... Я не знаю, мне кажется, я прав, – спокойно и тихо ответил Владимир.

– В том-то и дело, Владимир, что ты не знаешь, – как-то тоже успокоился человек, представившийся Фраппантом. – Я не могу тебе всего говорить, но ты узнаешь, ты узнаешь очень много, успеешь узнать до смерти. Учти, очень малой доле людей становится известно это. Ты таков, я знаю.

– Откуда? – спросил Ульянов.

Фраппант не ответил.

– Борьба, которую ты только начал, которую тебе еще предстоит вести очень долго, в случае если ты выберешь путь борьбы, будет самым большим делом в твоей жизни. У тебя сейчас есть два пути. Путь созидания и путь разрушения. От этого зависит так много, что

даже мне страшно говорить. В перспективе зависит от этого и существование мира. Выбор ты должен сделать, и мир, весь мир, за освобождение которого ты борешься, будет помнить тебя веками, но не это главное, и ты это знаешь, ты не тщеславен. Твой выбор будет зиждиться на анализе ситуации, в которую ты, Влад, попал и которую ты не можешь понять, как не может ее понять никто, за исключением отдельной группы людей, о которой тебе неизвестно ничего. Я вхожу в нее. Ты возразишь мне, что тоже кое-что знаешь, а я же скажу тебе, что нельзя знать, не зная. Если ты борьбу продолжишь, то ты добьешься своей цели...

– Есть! – воскликнул Владимир.

– Не перебивай меня, Влад, ты добьешься своей цели или ее внешней стороны, ты сделаешь то, что страшнее войны, а точнее, берет свое начало и завершается в войне. Благодаря тебе она произойдет, Влад, знай... Революция случится... Да, революция уничтожит все порядки, против которых ты будешь бороться, тыстроишь новое государство, но всех целей ты не добьешься. А знаешь, чего ты добьешься?! – воскликнул Фраппант. Эмоции в первый и последний раз окрасили его бледное лицо. Он засунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда пожелтевшую от времени бумагу, состаренную им. Он знал, что этого делать нельзя. Это нарушит канон развития, один из базисных элементов Уравнения. Но другого выхода у него не было, а этот попробовать стоило. Он швырнул бумажку Владимиру. Тот взял ее в руки и медленно, про себя прочитал. На бумаге было написано:

17 октября 1921 г.

Приговор ВЧК

По делу о контрреволюционной пропаганде № 12-Б3 Революционным военным советом Тверской губернии и революционным военным судом в соответствии с законами военного времени приговорены к высшей мере наказания через расстрел следующие преступники против народной власти:

Марковцев Александр Семенович, 1867 г. р.

Капинос Владимир Сергеевич, 1894 г. р.

Делянов Сергей Сергеевич, князь, 1875 г. р.

Каховцев Александр Дмитриевич, 1877 г. р.

...

Приговор привести в исполнение в течение дня на усмотрение Чрезвычайной комиссии.

Ответственным за исполнение назначить сотрудника ЧК Марцева Сергея Борисовича.

Приговор рассмотрен и подписан в строго установленном порядке.
Соргин Матвей Петрович, ВЧК.

Владимир не знал, как на это реагировать. Он не знал, кто такой Соргин. Он ничего не знал. Для него эта бумага была чем-то непонятным, артефактом будущего.

Фраппант продолжил:

– И еще кое-что ты также должен понять. За тобой придут другие. Придет и он. Ты его знаешь и не знаешь. Тот, который разрушит идею, самое важное и единственное, что у тебя есть, кроме желания разрушить предыдущее, полагающее основы. Он разрушит все, что построил ты, и создаст новое царство тьмы, тьмы, которая будет жить независимо от тебя, этот Цезарь будет жесток и зол на мир, в котором ему не нашлось места, но он, слабое по сути свое создание, окунет мир во тьму, задевающую каждое человеческое сердце. Он сделает мир своим. На время совершит преступление против истины: подчинит чужую волю своей. И это после стольких трудов, которые ты и твои «товарищи», – это слово Фраппант произнес с презрением, – вложили в ваше дело. После крови наступит новая кровь,

знай. Нет, друг, ты не освободишь мир и народы! Что бы ты ни делал, человеческая природа, обычная природа обычного человека, возьмет верх, и все, ради чего ты боролся, обернется мраком. Он подчинит себе мир, но и он уйдет, и твоя утопия, созданная на крови, просуществует одну лишь жизнь человека, не более, все остальное зависит от тебя, ты должен лишь сделать выбор. Продолжишь ли ты борьбу, которую начал? – Фраппант говорил медленно, внушительно, четко и отрешенно.

– Если нет?

– А если нет, то порядки ведь не разрушатся. Ненавидимое тобой и так исчезнет, в любом случае, но царство равенства построено не будет, если хочешь знать. Таких, как ты, – единицы. Ты знаешь это, но веришь, что люди, идущие за тобой, изменятся, ты к чему их ведешь? Знаешь ли? Сделанный тобой выбор будет настолько важен, что это окажет свое влияние на миллиарды людей после тебя, но ты целей не добьешься, друг, приняв борьбу, ты не будешь счастлив уже никогда... Ты понял меня?

– Да. Я понимаю, герр Фраппант, – сухо и коротко ответил Владимир.

– Отлично. Тебя удивляет наш разговор?

– Нет, уже нет, – Владимир был серьезен.

– Значит, ты уже понимаешь.

– Понимаю что?

– Мы связаны, мы очень похожи с тобой, – Фраппант говорил четко.

– Нет, и никогда. Я не делаю ошибок.

– Ты действительно гений. Но вместе с тем это значит, что ты не изменишь своему решению. Сейчас это уже не имеет значения, важно другое: все, что произошло и происходит, не является случайностью.

– И в чем причина этого?

– Когда-то я понял, как будто я мог наблюдать себя со стороны, в тот момент я изменился. Я, так же как и ты сейчас, был уверен, что это невозможно, что развитие мира невозможно предсказать, но тем не менее я знаю. Я знаю. Нас немного. Но я пришел к тебе, посмел нарушить, во второй раз в жизни, – то, чего делать нельзя, – напрямую вмешался в развитие системы, потому что я знаю, к чему это приведет. Я осмелился явиться к тебе, – каждое его слово чеканилось будто маршевый шаг, – и сейчас я здесь по твоей вине, Влад, ты виновен в том, что я здесь говорю с тобой, все это не случайно, и я должен был пройти через осознание развития, чтобы понять, понять все и прийти к тебе. Я свободен, Влад.

– Поздравляю, – сказал Володя, при этом в его словах не было ни радости, ни усмешки, ни эмоции, он говорил, как Фраппант.

– Не с чем... – Фраппант замолчал и сделал паузу. – Тебе хорошо известно, как обманчивы внешнее благополучие и внешность вообще, поэтому я скажу тебе, почему я здесь. Я пришел, чтобы сделать свободным и тебя. Я здесь не потому, что я свободен, а потому, что ты связан условностями, которые ты и придумал. Глупо не замечать цели существования, подвергать сомнению мотивы поступков... Теперь ты понимаешь меня? – Опять пауза. – Я здесь из-за тебя... Я должен тебе все сказать, что будет побуждать или усмирять тебя. Что будет вести к действию или бездействию, что должно влечь или отвлекать. Что должно определять цели. Ты понимаешь, что наши цели связаны? Меня привел сюда ты, Володя, и ты должен осознать и понять это! Я должен... Ты сам решишь, когда все кончится. Только тебе решать, избежать ли этого...

– Я сам сделаю верный выбор.

– Я знаю это, я верю в это. Любой твой выбор будет верным. Но пойми, чрезвычайно важно для будущего, какой выбор ты сделаешь. Ты чувствуешь ответственность, Володя? От этого решения зависит все. Это решение принять сложнее, чем ответить на бездарный по сути своей вопрос, в чем смысл этой жизни.

– Ты прав. Я сделаю выбор. И я вижу... я вижу, что ты знаешь какой. – Ульянов был серьезен, в его глазах читалась сосредоточенность момента.

Фраппант изменился в лице, он знал, что так все и должно было произойти. Но до последнего он надеялся, что Ульянов одумается.

– Почему, Володя? Почему, во имя чего? Что ты делаешь?! Зачем, зачем? Зачем продолжишь бороться? Неужели ты веришь в какую-то идею или тебе просто страшно проиграть?! Так в чем же идея? Иллюзии, Володя, все это – иллюзии восприятия. Объяснения! Но они, Володя, как и мир, столь же затуманены!.. Тебе фатально необходимо это увидеть, Володя, увидеть и понять! Ты не можешь победить так, как ты хочешь. Есть ли смысл в борьбе?! Почему, Володя, почему ты будешь упорствовать?

– Потому что это мой выбор, – тихо, но твердо ответил Владимир.

– Твой выбор... Только в этом, пожалуй, ты прав, – сказал Фраппант.

– Я прав, друг. У меня есть выбор, и я его сделал.

– Будь по-твоему... Найди свое сказочное голубое озеро, Ульянов, не время ошибаться, – Фраппант сказал это скорее смиренно, чем тихо.

Он повернулся и неслышно ушел. Владимир как будто не заметил, как он удалялся...

– Herr Iljin, Herr Iljin, entschuldigen Sie mich bitte, ich bin gezwungen, Sie zu wecken. Ist alles in Ordnung?

– Что?.. Что? Как... а, ja, ja, in Ordnung alles.

– Wir werden geschlossen, ich sehe, wie müde Sie sind, aber es ist schon Zeit...

– Ja, sicher. Ich muss los, ich muss... ich muss ein bisschen bummeln.

Владимир встал, быстро взял вещи в гардеробе и ушел навстречу Цюрихскому закату Гельвеции.

1920

После Сербии мистер Джон Лэйдж стал принадлежать к представителям самых сливок гринвудского общества. Судья штата, почетный член Общества вигов Юго-Востока, почетный член республиканского большинства, бывший дипломат, работавший в самом пороховом пекле – на Балканах, и, наконец, прекрасный семьянин и отец. Его особняк в центре города часто становился местом и балов, уступавших разве что только церемониям в мэрии, и вечеров, куда приглашались лучшие представители не только со всего Миссисипи, но и со всего Юго-Востока. Кадетом Лэйдж прошел Гражданскую войну, воевал на стороне Конфедерации, его отец лично был знаком с генералом Ли. Во время Реконструкции он стал юристом и претворял в жизнь принцип невоспрепятствования, что и принесло свои плоды к концу жизни. Его большая семья считалась в Гринвуде примером американской стабильности. Самой юной его дочери, Сэнди, всего семнадцать лет, и та уже была тетей. По случаю же именин племянника Сэнди и организовали прием в резиденции Лэйджей.

К вечеру бал закончился и все сели за стол. Где-то тихо-тихо играл новомодный джаз, но Лэйдж не принимал этой новой музыки. Его дом был одним из последних, где на официальных мероприятиях можно было слышать мазурку, вальсы и полонез. Добрые старые времена Гринвуда, ушедшие в забвение вместе с Великим кризисом.

Стол был накрыт большой, хотя для общества Лэйджа, может, и весьма скромный, на 26 персон. К тому времени, как детей уложили спать, часть гостей разошлась, однако Сэнди Лэйдж, ее отец, мистер Джон Фитцджеральд Лэйдж, и миссис Клэм Лэйдж сидели в обществе одном из самых приятных. Кроме мэра и коменданта Гринвуда к ним пришли также конгрессмен от Теннесси, друг Лэйджа еще с детства, пара гостей из Европы, среди них немка Иффэ (ее муж был в это время на какой-то важной финансовой встрече), польский аристократ Меншикофф-Тарашкевич, знакомый Лэйджа со времени работы на Департамент государства. Многие в Гринвуде думали, что он русский эмигрант, сам же он называл себя поляком. Присутствовали и директор местного банка с семьей, издатель местной газеты «Паблик блог» Сидридж, директор отделения железной дороги с супругой. В чудесном столовом серебре ручной работы, литья кузницы Смиттов, подавали мороженое пломбир, в бокалах искрилось дорогое шампанское из личного погреба миссис Клэм Лэйдж, в зале играли старые мелодии времени разлома веков.

Для выдержанного Лэйджа это был еще один вечер из сотни таких же, но в пожилом судье не было усталости от светских мероприятий: кроме работы и семьи, он жил ими. Для молодой Сэнди это был ее первый вечер. Корсет под темно-лиловым платьем отчаянно давил на молодую грудь, но через час танцев она почти не замечала этого. В то время как ее подруги уже не носили этой столь ветхой по моде «европейщины», она искренне наслаждалась возможностью сочетать лиловое платье, надеть которое она мечтала почти год, с синею лентой в каштановых волосах. Спала ли она предыдущую ночь? О, извольте, перед таким событием, когда оно впервые в жизни, не спят.

– И все же, господа, позвольте мне заметить, что тарифный закон по экспорту противоречит национальной политике, – что-то такое донеслось до уха Сэнди, это говорил старый и скучный мистер Максвелл, конгрессмен от Теннесси, но она почти не вслушивалась. Она смотрела на сына директора банка, Кларка Рокуэлла, мальчика старше ее всего на год. Он был кузеном одного из пожарных Гринвуда, и Сэнди никогда не могла вспомнить, видела ли она Кларка или когда-то его родню во время пожара. Но на что она обратила внимание, это то, как ему идет фрак (а по-другому к Лэйджам ходить было не принято).

Для Кларка это был не первый «вечер», и он их терпеть не мог. Ходил же он на них исключительно из-за отца, человека старых взглядов, который был уверен, что лицо бизне-

смена делает семья не менее, чем капитал. Именно поэтому он всюду таскал с собой сына, предпочитавшего скорее джаз-вечеринки с девочками и картами в клубе «Арабески». У Лэйджей он был впервые и теперь тоже не сводил взгляда с Сэнди, показавшейся ему хорошенькой. Даже несмотря на ее абсолютную наивность.

– Я планирую запустить свой бизнес в Аргентине, – это хвастал мистер Лэймон, железнодорожник, – я уже скопил достаточно на свою лавочку.

Сэнди не слушала его, она была поглощена таким вкусным мороженым, таким игристо-сильным шампанским, таким глубоким взглядом Кларка.

– Тогда вам стоит почитать мою статью в газете! – неожиданно вставил Сидридж. Его, дурно воспитанного, но умного малого, на подобные мероприятия приглашали только потому, что иначе разгромной статьи на последней странице в субботу не миновать. А этого Лэйджу не хотелось так же сильно, как и всем остальным.

– Как она называется, не напомните? – Мэр говорил редко и в основном вставлял такие скучные фразы и вопросы, ответы на которые все и так знают.

– «Паблик блог», господин мэр, мои ребята же брали у вас интервью в мае, вы что, не помните? – И, не дождавшись ответа на свой вопрос, тут же продолжил: – Так вот, мистер Лэймон, дело в том, что я составил список стран, где лучше всего начинать свой бизнес американцу, и Аргентина там как раз на одном из первых мест.

– Очень интересно! – сказал мистер Лэймон, который действительно думал о том, чтобы открыть небольшой бизнес в Аргентине, но это одна из таких мыслей, которые существуют исключительно для умствования, не для реализации. Газета «Паблик блог» паразитировала на таких мыслях. Сидридж был умным евреем.

«Очень интересно, – подумала Сэнди, – а если мы с ним пройдемся по саду после ужина, папа мне что-нибудь скажет?»

«Очень интересно, – подумал Кларк, – есть ли у нее что-нибудь под этим платьем?»

– В том же номере вы, кажется, напечатали и статью «Нация сегодня», верно? – За годы работы судьей у Лэйджа развилась прекрасная память на бумажный текст. Возможно, только на него. Зачастую, к несчастью миссис Лэйдж, ее муж забывал, что они смотрели накануне в театре.

– Да, конечно, я тоже читал, прекрасный материал, мистер Сидридж! – Тарашкевич говорил с сильным славянским акцентом. («Какой смешной», – улыбнулась про себя Синди.) – Очень полезная статья! Как раз сейчас, господин Сидридж. («Хорошо, что не пан», – сказала миссис Лэйдж самой себе, она бы не вынесла такого лингвистического уродства за своим столом.)

– Я там развиваю мысль о миссии каждой нации. Вы же все, господа, все читали? – Все подтвердили, в том числе и Кларк, который не то что статьи, но и газеты этой толком не видел. – Я имею в виду, что каждая нация имеет в чем-то превосходство относительное, но на своей земле у каждой нации превосходство абсолютное.

– Именно так! – Польский (или русский) аристократ не унимался, забывая, что он, однако, находился не на своей земле. И возвращаться туда в ближайшем будущем он не собирался.

– И все же? А как же просвещенное равенство? – Лэйдж выступал всегда, даже в своем доме, независимым арбитром любых споров. Он был судьей и за столько лет так сросся со своей ролью, что уже не мог отойти от нее. Возможно, этим во многом объяснялась гармония, царившая у Лэйджей.

– И равенство всех перед Саваофом? – Миссис Лэйдж получила одно из лучших образований, которое могут дать протестантские частные школы для девушек на Юго-Западе.

– Ну, вы же не будете считать себя равной женщине чероки, миссис Лэйдж, – сказал Лэймон и засмеялся над своей шуткой, все улыбнулись.

«Мама! Вечно лезет со своими глупостями, когда не надо, – думала Сэнди, – теперь молодой мистер Рокуэлл про нее плохо подумает». Однако Кларк и не собирался думать о Клэм Лэйдж. Он выпил уже два бокала шампанского. Когда ему подали третий, Сэнди что-то почувствовала у себя на коленях. Она вся покраснела, но никто не обратил внимания, даже мистер Лэйдж, вышедший на секунду проверить электроосвещение. Девушка медленно опустила голову, это была небольшая бумажная карточка, на которой было написано «У Вас великолепно прекрасные серые глаза. К.Р.». Сердечко заколотилось и сжалось, готово было выпрыгнуть из корсета, и все мысли в голове перемешались, и она совсем не знала, как себя вести сейчас...

– И так и должно быть! Необходимо создать определенные территории для проживания каждой нации. А в стране – этнические эксклавы, небольшие, от города до области, но не больше 2 тысяч квадратных миль... – Сэнди уже не различала, кто говорит, то ли Тарашкевич со своим глупым и ненужным акцентом, то ли Лэймон, то ли еще кто, она смотрела на мороженое, красная как помидор. В начищенном серебре отражалась ее лицо и две жемчужины серых глаз, которые она все-таки, несмотря на все остальное, действительно нашла сейчас великолепно прекрасными. Кларк ковырял ложкой в своем мороженом, ему тоже стало стыдно, и он начинал побаиваться, что Сэнди выдаст себя и его заодно. А тогда скандала не оберешься.

– Господа, представьте небольшой холм. – Еще один глупый, кажется, женский, хотя Сэнди была не уверена, голос с акцентом, на этот раз не таким сильным, немецким.

– Как Питкер-Хилл за рекой Пирл? – выдавила из себя Сэнди, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей и не привлекать внимание своим молчанием. Но когда она это сказала, ей показалось, что она это проговорила так, что теперь только на нее все смотреть и будут. На самом же деле никто на ее реплику не обратил внимания.

– Сейчас последует, я чувствую, какая-нибудь великолепная метафора, – Лэйдж действительно предвкушал что-то подобное.

– Или из Гете что-нибудь? – это сказал Меншикофф-Тарашкевич.

– Нет, моя мысль другая, – пояснила Иффэ.

«Ох, вроде бы прошло, – подумала про себя Сэнди, и взглянула в креманку. Действительно, краска покинула лицо. – Надо будет ему что-нибудь ответить, но что же, что...»

– Она заключается в том, что если ответственность за свои поступки человек будет возлагать на нацию, любую нацию, а не на разум, и если будет ранжировать не свои способности, а группы людей, связанных лишь местом и этносом происхождения...

«Она действительно ничего!» – Кларк после третьего бокала соображал уже не так остро, как в начале вечера, и мысль положить руку на колени барышни, как он зачастую проделывал в клубе «Арабески», все сильнее долбила его нетрезвый мозг.

– Но мысль-то верная, мисс Иффэ! – Мистер Лэйдж почувствовал, что, возможно, никакой метафоры и не будет, а допустить малейшей в своем доме размолвки он не мог, и постарался сгладить шероховатости. Он говорил с очаровательной улыбкой мудрого интеллигента.

– ...так вот, мистер Лэйдж, этот холмик размером с Питкер-Хилл, – Сэнди встрепенулась, она-то уж подумала, что никто правда не заметил ее слов, – будет сложен из...

«У меня такие прекрасно великолепные серые глаза!» – думала Сэнди.

«Интересно, легко ли ее...» – думал Кларк.

– ...из несожженных, голых трупов. Трупов мужчин, женщин и детей.

На мгновение установилась мертвая тишина. Казалось, что даже дышать все перестали, замер стук сердца мисс Сэнди Лэйдж, и только едва слышно откуда-то издалека доносился последний джазовый хит. Первой прервала молчание жена мистера Лэймона.

– Ах, мне дурно! – Она поднесла розовый платок ко рту и закашлялась.

Сэнди встала из-за стола, не особенно объясняя себе почему. Железная вышколенность Лэйджа заставила его встать сразу за ней, несмотря на то что все молчали. Затем встали и все остальные мужчины. Сэнди села. Но мужчины остались стоять.

Кларк во все глаза смотрел на спокойное лицо Марты Иффэ, он и думать забыл про Сэнди, а Клэм Лэйдж готова была упасть в обморок.

– Что это значит?! – спросил Лэйдж. Он спросил тем своим особым голосом, которым обычно выносил приговор.

– Это единственное возможное развитие вашей дискуссии, господа, мистер Меншикофф-Тарашкевич. Теперь я вынуждена вас оставить.

Марта встала, вышла из-за стола, подошла к Клэм, поблагодарила ее за прием и сказала, что ужин и бал до него были великолепны. Посмотрев на мистера Лэйджа, она едва заметно кивнула головой и вышла.

«Вечер безнадежно испорчен», – подумала только Клэм Лэйдж. В голове же мистера Сидриджа шла борьба: писать для газеты что-нибудь про этот эпизод или нет. Что-то подсказывало ему, какое-то чутье, что что-то здесь не так. И он решил не печатать, оправдав себя бесплатным мороженым и шампанским.

У Сэнди же всю ночь кружилась голова, и заснула она лишь под утро, выпив успокоительного средства. Но уже через неделю она забыла об этом вечере, еще через неделю ей перестали сниться кошмары. А Кларк после того, как все быстро распрощались, укатил в «Арабески» и напился жутко пьяным. Тарашкевич уехал из Гринвуда на следующий день, а Иффэ – в ту же ночь. Все решили не вспоминать о неприятном инциденте. На всякий случай Клэм Лэйдж дала слугам указание начистить серебро к следующему разу получше.

1922

Виктор поднимает глаза и видит рассвет. Так выглядит солнце, когда оно встает в небе над Ипанемой в ясную погоду. Розоватое небо с легким запахом персиков ласкает взор... Виктор видит этот рассвет и не может смотреть на него. Перечитывая письмо в третий раз, он спрашивает: «Почему?», но письмо молчит, и нестройный ряд букв продолжает властно смотреть на него, презрительно и без жалости к страданиям его. Листок тревожит его руки, им чуждо его механическое прикосновение, им странно дотрагиваться до воодушевленного душой, нежной и прекрасной, которую он так любит, клочка бумаги. Но буквы портят все. Они слишком нестройны, слишком не вписываются в общее его восприятие мира и действительности и потому особенно враждебно настроены по отношению к нему, да и он не жалуется на них ни в коей мере, это будет непозволительно и слишком роскошно для них, для листка и, что греха таить, для Виктора тоже. Он кладет листок.

Виктор кладет листок на деревянный стол, лакированный еще три года назад и требующий, причем настоятельно и назидательно, новой лакировки. Но листок давит на стол, на его пальцы, к которым стол привык, как привыкают к старым знакомым, с которыми не замечаешь их присутствия, но чувствуешь что-то постороннее в душе, когда уж слишком явно они о себе напоминают, пальцы глупо тарабанили по старому лаку и по листку. Он вспоминает.

Он вспоминает отчетливо и ясно, как такси, почему-то в дождливый день одиноко стоящее более у дороги, нежели у выхода из аэропорта, познакомило его с принцессой, сидящей в нем и отдающей приказание экипажу следовать в отель «Апроадор» на восточной границе мыса, недалеко от Копакабаны. Принцесса (а звали ее Марлен) давала наказ водителю медленно и тихо, как и позволительно принцессе, как только и могут давать наказы коронованные особы голубейших кровей. Она нисколько не ожидала увидеть его, Виктора, в пальто цвета дождя в Осло, на другом конце земного шара, который за столько времени перестал казаться ему огромной версией глобуса из класса в детстве, но ставший пристанищем в отпуске под названием «жизнь», его, обожающего кофе и ненавидящего самолеты, а потому стремящегося в отель «Апроадор» не меньше принцессы. Ее взгляд сразил невежу, так рьяно ворвавшегося в ее покои, нарушившего священное таинство наказа слуге, не ожидавшего увидеть никого, кроме слуги, собственно, в такси. Выученные «Hotel Aproador, por favor» вырвались из губ Виктора до того, как он заметил принцессу, до того, как он заметил, что нарушил, возможно, древнейший закон в мире, закон о том, что такси должно принадлежать одному человеку, имеющий важное подтверждение и в материальном мире, ведь в каждом теле есть лишь одна душа. Так и таксист, Харон шоссе, не позволяет вмешиваться нам, когда желаем совершить то, что по незнанию кажется логичным и правильным. Слишком многое кажется логичным и правильным, когда есть возможность использовать бессмысленный инструмент, данный от рождения, который некоторые называют умом, большинство же даже и не предполагают, что он нужен не только для складывания налоговых чеков. Взгляд принцессы говорил о том, что ее сразило невежество Виктора, он понятия не имел, как будет по-португальски «Извините, я и не мог предположить, что это такси уже занято», а потому бездушным «Excuse me» не только осложнил ситуацию, но практически должен был сам себя повесить, чтобы хоть частично оправдать свое бессмысленное существование в этом, как ему тогда казалось – мире.

В этом бессмысленном мире есть однако же что-то, что дарит надежду, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего, который бесспорно лучше вчерашнего и уж с позавчерашним ни в какое сравнение и идти не может. Это движение надежды для многих является мотивом жить, для избранных – самым смыслом существования души, несомненно бессмертной. Принцесса, которая относилась к избранным из избранных, относится к ним и сейчас и будет

относиться и после конца времен к сословию, чья суть выше понимания, выше всех категорий и выше небес над Ипанемой, оценила мгновенно, что невежество Виктора не будет исправлено никакими методами, насколько искусны они бы ни были, что любое движение ее будет воспринято не только не верно, но и нарочито напротив, что увещевания о том, что такси занято, не будут приняты во внимание и что ехать Виктору с принцессой предстоит в одну сторону, идет дождь, а у невежи Виктора нет зонта, притом что вокруг больше нет ничего, похожего на такси хотя бы отдаленно, и все эти обстоятельства позволили произойти чуду, которое называется счастьем, хотя это наиболее неподходящее название для ощущения счастья. На английском, который британцы зовут «языком белых воротничков», принцесса сообщила, что готова разделить с невежей такси, если он своей мокрой одеждой не испортит ее августейшего наряда. Невежа и помыслить не мог о подобной удаче, и согласился (хотя о понятии «соглашение» не могло быть и речи, это следовало бы означить капитуляцией) с принцессой, и вошел в экипаж, который тут же помчался в сторону восточной границы мыса, недалеко от Копакабаны.

Недалеко от Копакабаны, не далее чем в полумиле, можно найти укромное место, которое благодаря причудливому своему расположению освещается лишь два раза в день – утром, когда солнце встает приветствовать холод ночи, чтобы, однако, незаметно, подобно разрушительной болезни, уничтожить его, и вечером, перед самым заходом красного, уходящего солнца, когда оно пахнет персиками, словно фруктовый рынок во время продажи урожая. Там какой-то плотник, видимо один из немногих своих коллег, догадавшихся о смысле своей работы, поставил беседку, раскрасил ее в свой любимый цвет – изумрудный и лакировал куда более тщательно, нежели был лакирован стол Виктора. В этой беседке почти никогда никого нет, поскольку добраться туда можно, только зная путь, а он, как тайна мастера, которая передается от отца к сыну, хранится лишь несколькими людьми, большинство которых никогда не воспользуются своим тайным знанием. Так учат тригонометрию в классах, чтобы потом с трудом производить денежные расчеты. Так постигают, что значит любить, а потом дарят розы три раза в год, по определенным числам. Принцесса, которая являлась избранной из избранных, знала, что секунда стоит того, чтобы прожить ее, умело обходила условности мира, и Виктор виделся с ней в этой беседке сначала редко, потом часто, а потом он забывал, что такое редко и часто, потому что он видел принцессу. Люди не замечают, что здоровье – это здоровье, что книга – это Книга, что Деньги – это деньги. Так он не замечал до поры, что принцесса, с которой невежа имел возможность, счастье, случай, судьбу, что, в принципе, есть один и тот же перевод слова, которое правильно и назвать трудно, познаться, – Принцесса. Забывая о времени, иногда о пространстве, а потом обо всем, что было в мире, кроме Принцессы, Виктор забывал о мире самом. Он терял смысл, становился невесомым и посему просто испарялся в собственном сознании. А она так любила цветы...

Она так любила цветы только того сорта и того цвета, которые ей дарил Виктор, и в этом заключалась для него загадка, потому что какие бы цветы ни дарил Принцессе влюбленный невежа, она называла их лучшими и красивейшими на Земле, и невежа и помыслить не мог чего-то другого. Так получалось, что все лучшие и красивейшие цветы на Земле дарил ей он, и потому другим оставалось довольствоваться тем, что есть. Принцесса знала все, она была умнее невежи просто потому, что она принцесса, а он невежа, и этим только начинался список, содержащий все превосходства Принцессы над невежей. Ее смех можно было сравнивать лишь со звоном ангельских колокольчиков, которые слышат только дети, но он был слаще и приятнее. Только тот, кто слышал голос принцессы, знал, что такое катарсис и зачем жить. Виктор знал. Беседка в полумиле от Копакабаны стала для него Меккой, а он – самым правове́рным мусульманином в мире. Он приходил задолго до того, как принцесса назначала ему встречу, и готов был не уходить оттуда никогда. Принцесса же никогда не появлялась в назначенное время, но ее взгляд мог перевести стрелки часов назад на столько, сколько

будет нужно, и потому невежа забывал о времени, пространстве, о себе, о жизни, о мире, обо всем. Он видел и слышал только Принцессу. Он любил.

Виктор любил, когда вечерами Принцесса смотрела ему в глаза, потому что он готов был утонуть, раствориться в ее взгляде, и сейчас он готов бросить этот мир навсегда, только бы увидеть эти глаза вновь. Все сокровища мира блекнут, «Кохинор» ничтожен, а «Шах» бесцветен и тускл, когда вы смотрите в эти глаза. Нет ярче ничего, и самый яркий свет, который вы видели, сделает незрячим вас, но никогда не согреет вашу душу. Принцесса умела это. «Она Совершенство», – говорил он себе и боялся моргать, не мог пропустить ни атома ее взгляда. Иногда она грустила, и он смотрел в небо, и спрашивал, чем виноват он перед небом, перед ней, кроме того что родился невежей из невеж, но Принцесса опять улыбалась, и Виктор забывал все, был готов носить ее на руках от Северного полюса к Южному и обратно, только бы видеть, как она улыбается... Виктор держит листок в руках и продолжает вспоминать...

Он продолжает вспоминать: она улыбается, он смеется... Принцесса улыбается так тепло, что от этой улыбки можно согреть руки в холодную погоду, особенно в сезон дождей у Копакабаны. Кажется, Виктор счастлив. Она прекрасна.

Она прекрасна, она Принцесса, не может быть иначе, она одна, и то, что она у вас, делает вас не только самым счастливым, но и самым богатым человеком на Земле, но она награждает вас и ответственностью сохранить такое сокровище, ценность которого изменена быть не может. У вас на руках Принцесса, вы чувствуете, она ваша, она счастье, она жизнь. Никто не будет счастлив так, как счастливы вы. Никто не будет счастлив так, как счастлив Виктор. Никогда. Никогда? Никогда, это всего лишь слово, конечно, через столько лет опять будет беседка, и понимание, и вечная любовь. Ну а пока – никогда.

Никогда не видел Виктор в ее глазах что-нибудь, что бы можно было назвать предвестником этих литер, синих, чернильных, живых и, увы, несвободных литер, которые освещаются розовым солнцем молодого дня. Перечитывая письмо в третий раз, он спрашивает ее «Почему?» и не находит ответа. Ему кажется, что он задает неправильный вопрос, курит, тарабанит по столу пальцами и... не понимает. Он не любит не понимать, его беспокоит это состояние, он тратит слишком много энергии на беспокойство, но ничего не может с собой поделать. Земля не виновата, что она крутится вокруг своей оси, и не виновато Солнце, что освещает Землю, дает жизнь розам, Ипанеме, Принцессе и ему. И он не виноват, что не может перестать спрашивать себя, задавать вопрос «Почему?» – пожалуй, для него самый глупый из всех после вопроса «Зачем?» – и думать. Мысли рождаются в голове Виктора, как Гольфстрим у Либревиля, умирают по дороге, но продолжают инициировать новые и новые мысли. «Почему?» Он поднимает глаза и видит рассвет. Скоро совсем светает...

Светает... Он сидит за столом. Открывается дверь. Входит Принцесса.

1924

Душно. Отчаянно душно в кабинете профессора Валдиса Спогуриса в старом дубовом здании Высшей школы Риги. Латышский университет находился в самом центре города, а июль 1924 года выдался невероятно жарким. Университет со всех сторон опекался летним солнцем, и стены его таяли под желтыми лучами. Профессор Спогурис сидел за большим дубовым столом и что-то писал на бумаге, которая, кажется, тоже потела в этой духоте. Грозовой фронт на востоке уже гремел раскатами грома, но из-за того, что над Ригой почти не было ветра, жители были уверены, что гроза их не застанет. Никто даже не брал с собой зонтик. В субботу из домов тоже не особенно выходили.

Профессор Валдис Спогурис жил один – снимал небольшой домик на окраине с видом на Даугаву. Сейчас же только зной разливался по-над рекою. Старая латышка убиралась раз в неделю в доме профессора и готовила еду на выходные. В будни он обедал в столовой университета, в субботу столовая не работала, он ужинал в небольшом немецком ресторане на окраине Векриги, а в воскресенье гулял в Верманском парке или читал. После того как он переехал в Латвию, всю его жизнь можно было описать одним словом. Душно.

Тук-тук-тук, профессор.

Постучали. Он оторвал голову от бумаг и посмотрел на старинную дубовую дверь.

– Войдите!

Дверь отворилась, и в проем вошел незнакомый ему человек. Возможно, он видел его когда-то, но давно, очень давно, как в прошлой жизни, в эфирном полузабытом сне. Он не помнил.

– Очень хочется пить, профессор.

– Это не кафетерий. – Спогурис не любил, когда его отвлекают от занятий. Особенно по пустякам. Он решил, что это кто-то из его студентов, хотя на вид человеку было около двадцати пяти.

– Как это вы... жестко, профессор. Зачем вы так?

– Как вы сказали?

– Жестко, а что, разве нет?

Спогурис приподнял брови и внимательнее посмотрел на молодого человека. Он снял здоровой рукой тяжелые очки с переносицы и спокойно спросил у гостя:

– Чем могу быть полезен?

– Я, собственно, по поводу математики, профессор. Хотя не совсем, но все же.

– Тогда могу посоветовать зайти вам в учебную часть. Я не занимаюсь программами.

– Но вы же ведете лекции в университете!

Это было правдой: профессор действительно раз в месяц читал лекции по статистике, теории вероятности и высшей математике студентам старших курсов. Но студенты его не любили, он читал лекции тихо, как будто для себя, и, случалось, иногда говорил про себя, а не вслух. Некоторые из слушателей – из тех, кто сидел на первой парте, – смотрели за мелом, строчащим формулы на коричневой доске, с нескрываемым любопытством. Людям редко доводится видеть профессионала, так любящего свое дело, как профессор.

– Ну и что? Я сюда пришел лекции по биологии читать. Мне математика просто интереснее оказалась, и ректор Рубертс меня просил читать им математику, потому что биолог у них уже был. Университет новый, так мне сказали.

– Вы человек больших талантов, профессор. Вы же еще и врач, верно?

Спогурис отложил бумаги и тяжело вздохнул. Он достал сигарету, зажег спичку одной рукой, как ему пришлось научиться за последние десять лет, медленно затянулся и спросил по-русски:

– Вы из ОГПУ?

– Нет, Вадим. Не поделитесь огоньком? – Гость указал взглядом на сигарету.

Профессор Спогурис достал портсигар еще раз, вынул сигарету, зажег и отдал незнакомцу.

– Это, – незнакомец показал на протез кисти, – не мешает?

– Ничуть, даже помогает сосредоточиться. Знаете, какие я блины готовлю?

– Интересное у вас хобби. Для профессора математики.

– Вы не представились, – профессор говорил серьезно и сухо.

– И не собираюсь. Пока. Кстати, что это за марка? Отдает махоркой дешевой.

– Она и есть. Привычка – вторая натура. Я так понимаю, Вы не из Советов. Тогда что же вам нужно?

Незнакомец посмотрел в окно.

– Вы бы хоть окно открыли, что ли, тут невероятно душно, профессор.

– Не стоит, скоро пойдет дождь, и, если я открою окно, дождь замочит бюст Лейбница.

Видите там? Вон стоит на подоконнике. – Спогурис был раздражен.

Незнакомец улыбнулся:

– Откуда вы знаете, что через сорок минут пойдет дождь?

Профессор смутился.

– Я читал метеопрогноз с утра... в газетах.

Тогда собеседник профессора отогнул полу светлого пиджака и достал оттуда субботние выпуски *Latvijas Avīze*, *Rīgas Balss* и *Telegrāfs*. Газеты стопкой легли на стол.

– Сегодняшние, профессор. В них во всех написано, что дождя не будет до середины следующей недели. А знаете почему? Потому что у них у всех один источник информации – Рижский метеоцентр. И он еще вчера вечером передал во все редакции, что дождей не будет.

– Вы следили за мной?

– Нет, профессор. Вы разве следили за дождем?

– Тогда... Я не понимаю...

– Вадим, послушай меня. Я знаю, что вы меня старше, но я хотел бы, чтобы между нами установились доверительные отношения. Скажи мне, тебе не одиноко?

– Я не собираюсь с вами говорить в такой манере. – Профессор погасил окурок в пепельнице. Едкий дым рассеялся по большому и душному дубовому кабинету.

– Вы жесткий человек, Вадим Михайлович, очень к себе жесткий, – сказал как-то тише незнакомец и посмотрел профессору в глаза.

– Кто вы такой?! – Валдис встал, но споткнулся о стул и едва сохранил равновесие, упершись левой рукой в спинку стула.

– Вы еще больше удивитесь, когда я покажу вам это, – при этих словах незнакомец полез в портмоне в другой карман пиджака и достал оттуда золотую монету, испещренную фиолетовыми крапинками. – Вы знаете, что это такое?

– Это эрматрский дин. Они запрещены.

Незнакомец улыбнулся.

– Ну, дорогой мой профессор, тогда и я запрещен, и вы скоро будете.

– Вы из Эрматра?

– Да.

– Как вы сюда попали?! У нас карантин по всей Балтике!

Это тоже была правда. Весь берег Балтийского моря, в особенности литовские прибрежные зоны, был во время войны бомбардирован с воздуха снарядами, начиненными эфирным диэтил-арценином, более известным как газ «Кашляющая смерть». Считалось, что способ его добычи в промышленных масштабах и тактика боевого применения были разработаны в стронциевых рудниках и лабораториях Эрматра, а затем проданы военпромыш-

ленникам Второго рейха за обязательство сохранить нейтралитет Эрматра во время войны. После Версальских договоренностей никто не испытывал желания вновь мараить руки об этот вопрос, и, поскольку Эрматр не вошел в Лигу Наций, дело забылось. Единственной, кто не забыл об этом и постоянно напоминал, была Литва, которая ввела «карантин» – запрет на посещение страны людьми, хоть как-то связанными с Эрматром. Латвия и Эстония последовали примеру соседа. Все это произошло еще до того, как Женевский протокол и Листский дополнительный протокол вступили в силу.

– И что?

– Как что? Я вызову полицию, вы!..

– Профессор, успокойтесь, сядьте.

Вадим сел на стул, не сводя глаз с незнакомца. Тот же взял со стола карандаш и, не смотря на профессора, что-то написал в его в рукописи.

– Посмотрите.

Спогурис бросил взгляд в рукопись, все зачеркнул и выбросил бумагу.

– Профессор, в каком году начнется война?

– Какая война?

Незнакомец свел брови, посмотрел внимательно на профессора, затем из-за ремня брюк достал маузер.

– В каком году, профессор, начнется война?

– Стреляйте.

Незнакомец взвел курок.

– Я выстрелю. Не мягче вас.

– В 1938-м, – Спогурис ответил на выдохе, – согласно моим подсчетам.

– В каком году в Латвии произойдет переворот?

– За четыре года до этого, в 1934-м. Май, середина.

– В каком году Латвию оккупируют?

– 40-й.

– Два из трех, профессор. Я не стану задавать вам вопрос, которого вы так боитесь, – незнакомец убрал маузер назад, заткнул за пояс.

– Какой же?

– Когда вы умрете.

Профессор сидел и смотрел на незнакомца в светлом костюме и пытался сообразить, как ему теперь поступать. Он был уверен, что он один научился сплетать «арабески времени», как он их называл, в единую картину. Сейчас ему было очевидно, что это не так.

– Ваша мать умерла от тифа, профессор. Отец расстрелян.

– Я не знал этого. А Маша?

– В Латинской Америке. Пока еще. С ней все хорошо. Если вы соберетесь ей написать, я смогу помочь. Она носит сейчас имя Марлен. Как и вы, она больше не Зеркалова. Профессор, вы бы не хотели слетать в Эрматр?

– Нет, ночь Эрматра – это непросчитываемая вероятность. Абсолютно не упрощаемое будущее событие.

– Ваша ошибка в том, что вы работаете с вероятностью. Хи-квадрат, гамма-распределение. Вы же знаете, что есть уровень выше?

– Знаю, он недостижим.

– Тогда почему я здесь, профессор?

Вадим посмотрел на портрет Лейбница и на окно.

– Что вам терять здесь, в Риге? Будете скучать по Илзе? Она найдет себе другого жильца.

– А мои студенты?

– Скажите мне честно, профессор. Они вам нужны?

Профессор ничего не ответил.

– Пойдемте со мной. Я обещаю, что хуже вам не будет. А статистик вашего уровня рождается раз в столетие. Допустить, чтобы вы сгнили в этом мерзком дубовом кабинете или заняли пост министра по науке в Латвии Советов, – значит дать свершиться преступлению не против закона, но против истины. Я не хочу быть преступником. Я и так уже упустил двоих. Вы всегда хотели взглянуть за горизонт. Я дам вам секстант, профессор.

– У меня есть выбор? – спросил Спогурис.

– Только у вас он и есть. И вы знаете это.

– Знаю.

Профессор встал, подошел к незнакомцу вплотную, почти приобнял – при этом человек в белом костюме даже не шелохнулся, – достал из-за его ремня маузер. Он так же, как и несколько минут назад его собеседник, взвел курок, прицелился и выстрелил левой рукой в защелку на окне. Оно отворилось, и свежий ветер подул в кабинет.

– Хотел проверить, не потерял ли сноровку. – Профессор вернул маузер хозяину.

– У вас мозг математика и руки хирурга. Вы – бриллиант, профессор.

Они вместе вышли из душного дубового кабинета в тот момент, когда первые капли падали на белый мраморный парик Лейбница на подоконнике.

1924

Было холодно, потому что февраль не пускал март согреть мир. Тогда Виктор не знал почему, потому что никто не знал. Соседние страны разорвали всяческие связи, обвинили друг друга в агрессивной политике в отношении Эрматра, куска земли в триста на четыреста километров, богом заброшенного странного места, о котором почти никому ничего не было известно. Виктор приехал с Марлен из соседней страны только полгода назад, у него был отпуск, и это было замечательное время, они отдохнули на побережье, наслаждались лучами солнца, освещавшего курорт Сан-Актуан де Рьюи, купались в море и считали, сколько дней им осталось не думать ни о чем, кроме заказа ужина в ресторане. Марлен тогда сказала, что беременна и что рада, что Виктор узнает это в Сан-Актуан де Рьюи, который, конечно, является Раем на Земле, а они, конечно, Адамом и Евой в этом Раю. Кажется, это было после того, как они на новом «Бьюике» отправились любоваться закатом в местечко под названием Лидо-эль-Эспадrome – шикарный курорт, нетронутая природа, первозданная в своей красоте. Это был прекрасный вечер, Виктора охватило ощущение, что солнце собиралось бухнуться в воду, но оно вошло в горизонт так незаметно и медленно, как нож входит в теплое масло, не нарушая его внутренней структуры. Она сказала, что беременна и что счастлива. Виктор ничего не ответил, а если бы и мог – не запомнил бы, потому что был весь погружен в счастье, чувствовал его буквально повсюду, в каждом атоме мира и особенно рядом с ним с самим, оно материализовалось в Марлен, оно стало Марлен, и только когда он это понял, он осознал, как сильно любил ее.

Это было после того письма, в котором Марлен... Хотя, конечно, это неважно. Они были вместе.

Когда они приехали из отпуска, Марлен сидела по большей части дома, Виктор поступил на службу в национальное министерство обороны. Проводились учения в свете напряженности отношений между странами. Приходилось уезжать ненадолго, испытывая угрызения совести перед беременной женой, оставляя ее на попечение Анны, которой Виктор хотя и доверял, но не мог до конца передать заботу о тогда уже двух самых дорогих ему существах на Земле. Потом он возвращался, иногда ночью, и смотрел, как спит Марлен. Хотя он был страшно изможден, но не мог позволить себе пропустить чудо ее пробуждения, этого не передать никакими словами, рассвет над водной гладью или в горах просто меркнет перед тем, как светились для него ее темно-янтарные глаза, когда она их приоткрывала и видела Виктора рядом. Он тихо говорил: «Я с тобой, любимая. Я всегда с тобой», целовал ее и только потом позволял себе закрыть глаза и забыться. Просыпался он обычно во второй половине дня, пил кофе, и тогда они рассказывали друг другу все, что произошло за эти семь, десять, одиннадцать дней, что они были в разных частях света. Виктор рассказывал о маневрах, об окружении и отходе, артподготовке и офицерском быте, и, хотя знал, что Марлен ничего не смыслит в маневрах, окружении и отходе, артподготовке и офицерском быте, он догадывался, что она была с ним все это время, и вспоминала о нем, и считала дни, когда он приедет. И ей было чрезвычайно важно знать, какой ерундой он занимался, пока она ждала его. Потом рассказывала Марлен, конечно, ее жизнь была наполнена несравненно большим смыслом, нежели все остальное, она вынашивала ребенка, их ребенка, и потому каждая ее секунда стоила больше, чем год жизни Виктора.

Когда наступила зима, Виктор забеспокоился, не будет ли Марлен холодно и не простудится ли она. Во время учений он почти каждый день телеграфировал Анне, чтобы она позаботилась о том, и Марлен было комфортно и тепло. К счастью, все обошлось, Марлен не простудилась. Он только в декабре, кажется, сам приболел и нарочно пробыл вдали от Марлен лишнюю неделю, чтобы не заразить ее. Она, конечно, страшно ругалась потом, когда

узнала, почему его не было, но где-то сердцем понимала, что так было нужно. Уже тогда они слышали. Начали они слышать раньше, но в декабре они грелись у камина и слышали. Виктор слышал, касаясь живота Марлен, как его ребенок говорил с ним. Ради этого стоит жить.

К январю учения участились, Виктору приходилось почти каждые три недели уезжать на позиции, покидая Марлен. Их «Бьюик» был реквизирован, и у Виктора появился личный автомобиль с водителем-рядовым, хорошим парнем, но слишком уж молчаливым. Иногда было бы приятно, особенно во время долгих поездок, завязать разговор, а с Тором, как звали его молодого, но уже тогда почему-то седого водителя, получалось обмолвиться лишь парой-тройкой слов. И ладно. Виктор думал о Марлен.

К марту стало ясно, что войны не избежать, были отозваны посольства, на мирное разрешение ни у кого не оставалось надежды. Виктор часто читал в газетах лозунги непрошибаемого патриотизма, убеждающие, что завтрашняя победа – результат сегодняшних дел, и прочий политиканский бред, ему было все равно, он надеялся только, что Марлен не будет переживать. Иногда приходилось говорить с ней о предстоящей войне, хотя ему и совсем не хотелось этого, убеждать, что нет ничего страшного, потому что Виктор – старший лейтенант, он не солдат, он будет в безопасности в бункере, даже если по укреплению будет вести огонь прямой наводкой «Большая Берта». Конечно, это было не так. Виктор врал Марлен. Марлен верила, и тогда она жалела солдат и грустнела, переживала и думала... Он не давал ей этого делать, они шли гулять по весенней погоде. Виктору почему-то запомнилось, что всегда была необходимость уговаривать Марлен теплее одеться. Это было особенно трудно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.